



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Записные книжки (1813–1848)

Книжка вторая

<...>

Слова — условленные знаки мыслей. Иные из них имеют в глазах наших существенную цену, приданную им временем и употреблением; другие вводятся насильственно и цена их условная. Государство не имеет довольно звонкой монеты; оно прибегает к ассигнациям. Язык не имеет довольно коренных слов; он прибегает к составным или мнимым словам. Возьмите слово *добродетель*; оно — мнимый знак той мысли, которую обязан выразить. *Добродетель* должно бы иметь равное значение со словом *благодетель*. Одно время определяет почитать ли слово фальшивую ассигнацией или государственною. Разумеется, что есть люди, предопределяющие определение времени. Пример их прав для современников и закон для потомства. Для монет есть монетный двор; для слов есть у нас академия, но, к сожалению, на ней выбивается одна фальшивая монета, не выдерживающая надлежащей пробы в горниле вкуса. Когда годится ассигнация? Тогда, как пустивший ее в ход за нее отвечает, и силою ли, убеждением ли или другим средством принуждает прочих почтить ее тем, чем он хочет, чтобы ее почитали. Или возьмем общество друг другу равных людей: они для облегчения своих торговых, договорных или иных сношений с общего согласия уговорились завести *представительные знаки* вещей. *Представительный знак* никакого знаменования не имеет вне общества, но вну-

три общества он имеет твердое и несомненное. Отчего же бы по этому примеру нельзя какому-нибудь народу дополнить свой язык звуками, преобразованными в слова, долженствующие в свою очередь образовать глазам и ушам такую-то мысль, коей выражение сделалось ей нужно. В финансах скудность представительных знаков в соразмерности с представляемыми вещами заменяют удвоением, утроением знаменования представительного знака: рубль делается двумя рублями и т. д. В языке того нельзя делать или по крайней мере не должно. Сохрани боже, когда одному слову дают двойной, тройной смысл. Но как же помочь? Иностранных слов брать не велят: от сего займа терпит народная спесь. (Заметим, однако же, что голландские червонцы у нас в ходу). Неужели лучше отказаться от выражения такого-то понятия потому только, что предкам нашим не приходило оно в голову и чуждо было их веку? Еще одно сравнение: каждая планета имеет свое имя. Хорошо! Но положим, что вздумается творцу явить нам еще несколько планет: астрономы, вероятно, не ограбят других планет, а придумают новые, которые были бы непонятны для прежних астрономов или для тех, которые будут обучаться по прежним наукам. В дипломатике употребляют же цифры вместо букв; она не заботится о том, что никакая азбука, никакая грамматика, никакой словарь не дал ее знакам права гражданства: дело ей в том, чтобы народ ее дипломатический понимал друг друга этим средством.

Какое же вывести заключение из всего сказанного мною? То, чтобы в случае недостатка слов для выражения мыслей и понятий, свойственных нам, изобрели какие хотят звуки и без прочих okolичностей внесли их в общий словарь русского языка. Выведенное заключение меня самого пугает. Оно отзывается «Беседую» или желтым домом. Я это вижу: но какое же найти другое средство?¹

При Павле, тогда еще великом князе, толковали много о Жевневских возмущениях: да перестаньте, — сказал он, — говорить о буре в стакане воды. — Павел мерил на свой аршин².

Иные люди хороши на *одно время*, как календарь на такой-то год: переживши свой срок, переживают они и свое назначение. К ним можно после заглядывать для справок; но если вы будете руководствоваться ими, то вам придется праздновать Пасху в страстную пятницу.

По первому взгляду на рабство в России говорю: оно уродливо. Это нарост на теле государства. Теперь дело лекарей решить: как

истребить его? Свести ли медленными, но беспрестанно действующими средствами?

Срезать ли его разом? Созовите совет врачей: пусть перетолкуют они о способах, взвешают последствия и тогда решитесь на что-нибудь. Теперь, что вы делаете? Вы сознаетесь, что это на-рост, пальцем указываете на него и только что дразните больного тогда, когда должно и можно его лечить³.

Законодатель французского Парнаса, и следственно, почти всего европейского сказал:

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème*.

Теперь и в школах уже не пишут сонетов. Слава их пала вместе с французскими кафтанами. Условная красота имеет только временную цену. Хороший стих в сонете перейдет и к потомству хорошим стихом; но сонет, как ни будь правилен, оставлен без уважения. Сколько в людях встречаешь *сонетов!* Острое слово, сказанное остряком, не состарилось, но сам остряк пережил себя и не имеет уже почетного места в обществе⁴.

Увядшая красавица перед цветущею не так смешна, как старый остряк перед новым. Мне сказывали, что в Берлине, во время эмиграции, Ривароль так заметал в обществе старика Буфлера, что тот слова не мог высказать при нем. Батюшков говорит о Хвостове Александре: он пятьдесят лет тому назад сочинил книгу ума своего и все еще по ней читает⁵.

Ne soyez pas envieux du temps**, сказал Неккер в речи своей при открытии des états généraux***⁶...

...Везде обнаруживается *какая-то* филантропия, говорит Карамзин в статье: О верном способе и пр. Если хотеть бы с умыслом сказать на смех, то лучше нельзя. — Теперь везде обнаруживается *какая-то* набожность и *какая-то* свободномысленность⁷.

Вы говорите о падении государств? Что это значит? Государств не бывает ни наверху, ни на низу и не падают: они меняются в лице <образе> (ils changent de physionomie)****; но толкуют о падениях, о разрушениях, и сии слова и заключают всю игру обманчивости и заблуждений. Сказать фазы государств (изменения) было бы

* Безупречный сонет стоит целой поэмы (фр.).

** Не завидуйте времени (фр.).

*** Генеральных штатов (фр.).

**** Они меняют лицо (фр.).

справедливее. Человеческий род вечен как луна, но показывает иногда нам то одну сторону, то другую, потому что мы не так стоим, чтобы видеть его в полноте. Есть государства, которые красивы в ущербе, как французское государство; есть, которые будут хороши только в нетлении, как турецкое; есть, которые сияют только в первой четверти, как езуитское. Одно государство папское и было прекрасно в свое полнолуние (Галиани. Письмо к г-же д'Эпине) ...

...В Париже философы растут на открытом воздухе; в Стокгольме, в Петербурге в теплицах; а в Неаполе возвращают их под навозом: климат им неблагоприятен (Галиани к г-же д'Эпине)⁸.

С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Давайте поляку руку <учтиво> вежливо, но с ласкою руку его пожимая, прижмите ее так, чтобы он догадывался о силе вашей. — Они не умеют быть благодарными, а только энтузиастами. Главное <дело>: их заговорить. Не благотворите им на деле, а витийствуйте им о благотворении. Вот что с ними делал Наполеон: он не думал вернуть им независимости, а проповедывал им независимость и успевал. Они так дорожат честью слыть благородными и доблестными, что от одних слов о доблести, мужестве полезут на стену. В театре всякое пышное изречение, похожее на героическое чувство, приветствуется рукоплесканиями: и добродетели-то их все театральные! Оно не порок и показывает по крайней мере если не твердые правила, то хорошее направление. Робость, которая платит дань почтения мужеству, порок, который признает достоинство добродетели, не в совершенном упадке. — Наполеон надоел иным французам: как они ни легкомысленны, но часы рассудка приходят на них: в Польше Наполеон пролил бы до последней капли польской крови. Не оттого что они в клятвах своих вернее французов, но Наполеон совершенно по них. Они всегда променяют солнце на фейерверк. Речь, читанная государем на Сейме, дороже им всех его благодеяний. Бей их дома, как хочешь, только при гостях будь с ними учтив. Нельзя сказать, что они *славолюбивы*, а *успехолюбивы*. Им не в том, чтобы дома быть счастливыми, а в том, чтобы блеснуть пред Европою. Политические Дон-Кихоты. Мне один поляк говорил, что Бонапарте безрассудно вверился великодушию англичан. Одни мы устояли бы его. И точно Польша дала бы себя разрубить на куски, но не изменила бы несчастью⁹...

...Юлий Кесарь говорил о неприятеле своем Цицероне, что расширить пределы человеческого ума славнее, чем расширить пределы владения тленного.

«Будь счастлив, как Август, и добродетелен, как Траян» — было в продолжение двух веков обыкновенное императорам приветствие от Сената¹⁰.

Государь поступил точно по-русски, жалуя всемилостивейше в свои генерал-адъютанты Красинского, избравши его в предводители Сейма. Наши предводители будут всегда рабами правительства, а не защитниками дворянских прав, пока не отменят пагубного обыкновения награждать их крестами и чинами. *Милости* должны бы быть в руке царя, *награждения* — в руке сограждан¹¹.

И овцы целы и волки сыты — было в первый раз сказано лукавым волком или подлою овцою. Пословицы, как говорят, мудрость народов: тут нет мудрости, а или насмешка, или низость. Счастливы то стадо, вокруг коего волки околевают с голода¹².

Один умный человек говорил, что в России честному человеку жить, не можно, пока не уничтожат следующих приговорок: *без вины виноват, казенное на воде не тонет, а в огне не горит, все божие да государево*.

Необходимость в представительном правительстве и в уставе положительных законов заключается в следующей пословице: до бога высоко, до царя далеко.

Близ царя, близ смерти. Честь царю, если сия пословица родилась, на войне! Горе, если в мирное время!

Ум любит простор, — а не цензуру¹³...

...Какие трудности представились Екатерине II при вступлении ее на престол по крутой кончине Петра III! Как она долго колыхалась! Малейшее дуновение с раза могло ее повалить. Она искренно и крепко оперлась на народ, и с той поры все грозы были бы против нее бессильны. Ее престол, поддерживаемый миллионами людей, убежденных в выгоде его поддержать, должен был быть непоколебим и независим. Вот что княгиня Дашкова, ее приятельница, довольно забавно называла: обрезать помочи настоящим ножом (*couper ses lisières avec le vrai couteau*). «*La Minerve française*» [«*Ла Минерв Француз*»]¹⁴.

Август, будучи в Египте, велел раскрыть гробницу Александра. Его спросили: не хочет ли он раскрыть и гробницы Птолемеев. «Нет! — отвечал он, — я хотел видеть царя, а не мертвецов!»¹⁵

Сытый Сганарель думал, что вся его семья пообедала¹⁶.

Феопомпий, Спартанский царь, первый присоединил эфоров к отправлению государствования; испуганное его семейство, говорит Аристотель, укоряло его в ослаблении могущества, предоставленного ему предками. «Нет! — отвечал он, — я передам его еще в большей силе преемникам, потому что оно будет надежнее!»¹⁷

Цари не злее других людей. Доказательство тому, что обыкновенно обижают они тех, которых не видят, чтобы угодить тем, которых видят. Несчастье в том, что ими видимые составляют малое количество, а невидимые — толпу. Перенесите положение, и последствие будет иное. Царь посреди своего двора: он благодетельствует двору в ущерб народу. Поставьте его посреди народа, он будет покровительствовать народу на зло двора («Minerve Française». Benj. Constant [«Минерв Франсез». Бенж. Констан.]¹⁸.

Нелединский говорит, что при дворе *завтра* не есть последствием сегодня. Он же в 1812-м году после Бородинского сражения отвечал в Ярославле Екатерине Павловне в разговоре о преданности и любви русских к государю: «Любовь народа к царю родится от доверенности, а доверенность от успехов»¹⁹.

Беклешов толковал таким образом происхождение слова *там-можни, там можно*.

О некоторых государственных образователях говорил он забавно: «они лунатики! Посмотреть на них, так диво: один ходит по крышке, другой по крутому берегу, но назови любого по имени, очнется и упадет»²⁰.

Французская острога шутит словами и блещет удачным прибором слов, русская — удачным приведением противуречащих положений. Французы шутят для уха — русские для глаз. Почти каждую русскую шутку можно переложить в карикатуру. Наши шутки все в лицах. Русский народ решительно насмешлив: подслушайте разговор передней, сеней, всегда есть один балагур, который цыганит других. При разъезде в каком-нибудь собрании горе тому, коего название подается на какое-нибудь применение: <сто> десять голосов в запуски перекрестят его по-своему. Прислушайтесь в ареопаге важных наших сенаторов и бригадиров: они говорят о бостоне или о летах и всегда достается несколько

шуток на (часть) долю старшего или проигравшего; шуток не весьма ценных, но доказывающих по крайней мере, что шутка — ходячая монета у этих постных лиц, кажется, совсем не поместительных для улыбки веселости. Острословие крестьян иногда изумляет. Менее и хуже всех шутят наши комики.

Разговорные прения в гостиных, за круглым столом, в толпе слушателей нетерпеливых не выслушать, а перебить вас, *сказать свое мнение*, где часто поборник ваш не только вас не слушает, но и не слышит, несмотря на то можно назвать полезным словесным движением. Вы пускаетесь не так, как в дорогу, чтобы от одного места дойти до другого, но как в прогулку. Дело не в том, чтобы дойти до назначенного места, а в том, чтобы ходить, дышать свежим воздухом, срывать мимоходом цветы. На бумаге ставишь межевые столбы, они свидетельствуют о том, что вы тут уже были, и ведут далее. В разговоре иль по прихоти, или с запальчивости переставляешь с места на место и от того часто по долгом движении очутишься в двух шагах от точки, с коей пошел, а иногда и в ста шагах за точку²¹.

Бенжамена укоряли в непостоянстве <правил> политического поведения. Он оправдывался. Наконец, сказали ему о 19 и 20-м [июне?]. Правда, отвечал он подумавши: я слишком круто поворотил. *J'ai tourné trop court*. Впрочем, можно, изменяя людям и правительствам, почитая их за орудия, не изменять своим правилам. Если все государственные люди шли бы по следам Катона, то во многих случаях общественные дела сделались бы добычею одних бездельников. «С большею гибкостью, говорит Миллер, он был бы отечеству полезнее, но хартиям истории не доставало бы характера Катона». Мы должны служить не тому и не другому, но той нравственной силе, коей тот или другой представителем. Я меняю кафтан, а не лицо. И если Benjamin переносил свои мнения от двора Наполеона ко двору Людовика и обратно, то может избежать он осуждения; но дело в том, чтобы переносил мнения, а не слова. Передаваться частно из видов собственной корысти есть признак ...*²²

...Rabaud de St. Etienne [Рабо де Сент-Этьен].

Как жестоки быть не могут войны, которые последуют за объявлением прав, но объявление сие провозгласившие должны

* В записи недостает конца, так как следующий лист отсутствует.

избежать упреков: прежде надлежало бы жаловаться тому, что печатание было изобретено. Поток мнений только от того становится широким и стремительным, что он накоплен многими ручьями и пробивался через поколения.

Христиане долго таили свой Евангелий и тогда только его обнародовали, когда оказались в силе. Евангелий объявления прав вверен был народу нескромному и легкомысленному, который все говорит, что знает. Вот все, на что можно жаловаться рассудительно: но объявление прав настигло, как комета исчезнувшая показывается в свое время: астрономы ее предсказали.

Невыгода народов заключается в их невежестве, рассеянии, в разнообразности языков, обычаев, законов и нравов и в нелепости народных ненавистей. Цари пользуются войсками, золотом народов и навыком власти: они все говорят одним языком; имеют послов, лазутчиков, переписки и договоры, быстроту хотения, согласия и исполнения, а к тому же все знают, что они и братья двоюродные.

Вообще истине новой нужно не менее тридцати лет, чтобы укорениться в народе многочисленном, когда он спокоен и бесстрастен. Пока не отозвалась она несколько раз во всех ушах, пробудила ленивых, поразила беспечных, обратила упрямых и суеверных, что одно и то же, и разоблачила ханжей, поколение миновалось. Но во времена необычайные и когда два мнения сшибаются, то, которое истинно, провозглашается с такою живостью, что успехи его невероятны: оно подкрепляется противоречием и разносится страстями — год войны тогда более столетия в иное время.

А так как истина никогда одна не бывает, но ведет за собою множество следствий, то противоречие, которое, как известно, высекает искры новые, вызывает из недра мраков истины, о коих еще не так скоро бы вздумали; таким образом, противники истины поражены бывают толпою союзников, которые совершенно их обезоруживают.

Мнения начальные, правила, как вода, всегда уравниваются: ее задерживают, противопоставляют ей плотины, спускают ее; но всегда стекается она где-нибудь.

Вся политика Франции заключается отныне в распространении просвещения и свободе печатания. Букварь будет учителем грядущего поколения и начальные училища Франции училищами рода человеческого...²³

...Все счастье народа, сказал Монтескье, состоит в мнении, которое он имеет о кроткости правительства. Министр недогадливый хочет всегда <напомнить> показать вам <о том>, что вы невольники; хотя и было бы так, долг его то утаивать²⁴.

В народе рабском все понижается. Надобно стремиться выговором и движением, чтобы отнять у истины ее вес и обиду, колкость. Тогда поэты то же, что шуты при царских дворах: презрение, которое к ним имеют, развязывает ум, язык. Или, если хотите, они походят на тех преступников, кои, представленные к суду, избегают наказания только тем, что притворяются сумасшедшими. (Diderot. De la poésie dramatique)*²⁵.

Я всегда люблю в многолюдном обществе мысленно допрашивать спины предстоящих: <сколько> которые из них подались бы на палки? И всегда пугаюсь числом моих изысканий. Я не говорю уже о спинах, битых с рождения, а только о тех, кои торговались бы с палками и выдавали бы себя на некоторых условиях: иные щекотливые согласились бы на с глазу на глаз: другие менее, на при двух или трех свидетелях. Вот испытание, которое я, будучи царем, предлагал бы при выборах людей. — Как трудно с девственною спиною ужиться в обществе! Как собаки обнюхивают и бегут прочь, когда ошибутся, так и битые тотчас, встречаясь с вами, обнюхиваются вашу спину и, удостоверившись, пристают к вам, или от вас отходят. Нет сомнения, что общежитие более или менее уничтожает души. Сколько людей, которые, сквозь строй пробежали к честям и достоинствам. Как мало дошли до них недотронутые...

...Нет хуже этих либералов прошлого века, которые либеральничали, когда власть еще не тронута была: теперь, оставши от тех, которые власть обрезали, они видят в нынешнем образе мыслей мятеж и безначалие²⁶.

13 марта 1821 г.²⁷

В наше время воины признают одну силу рассудка, а государственники одну силу штыков. Войска преподают народам и правительствам формы существования надежного. Конгрессы заряжают пушки. Фоксы и В. Constant [Б. Констан] — оракулы

* Дидро. О драматической поэзии (фр.).

военных ставок; Платовы — союзники Министров и те новейшие Пуфендорфы, по коим цари учатся праву народному и решению задач политических. — Естественно ли такое состояние? Нет! И в тех и других есть *переступление*, но на чьей стороне чистота побуждений и благородство цели? Революция Гишпанская пример соблазнительный и, может быть, легко бедственный, но какая совесть, *тройным булатом* самодержавия *вооруженная*, не признает, что в сей революции является зрелище высокое и для человечества почетное, а в условиях криводушия, воцарившегося на Совете Лайбахском, зрелище униженное и наполняющее душу унынием, если не воспаляющее отчаяние²⁸.

Неужели должен я считать порочным тот голос, который отзывается у меня в глубине души на вопрос: пожелаю ли успеха нашим войскам, если бедствие, с высоты престола увлекающее Россию в бездну, устремит их на Италию для довершения народоубийственных предприятий? — Будь я русский воин, ни на минуту не задумался бы я и отказался от похода. Никогда Наполеон не предпринимал такой несправедливой, личной войны. Посылая французов на убиение в Гишпанию для охранения брата на престоле, мог он всегда прикрыть свое побуждение пользою Франции, ибо без сомнения польза тогдашней Франции была сопряжена с пользою фамилии Наполеоновой, занявшей значительную часть Европейских престолов. Но здесь, чем соблазнишь русских, ополчая их на защиту *мнения*, от коего они сами погибают и против коего вооружились бы сами не хуже других, буде правительство их не следовало системе *помрачения* (в противность просвещению), отучившей рассуждать и мыслить большую часть народа? Какою <одеревянею> медною рукою напишется *Божиею Милостию* перед манифестом, объявляющем народу о начале сей войны? Кто не видит, что одно обсчитавшееся честолюбие человека, взявшего на себя звание примирителя европейского, вызывает войска с берегов Невы к брегам Средиземного моря, потрясает Россию до основания для решения прений, в глазах России совершенно отвлеченных, и грозит зажечь Европу из края в край? И кто по совести не признается, что сие звание примирителя дорого и по-сердцу ему для того, что дает средство при первой искре, вылетающей из трубы, где бы то ни было, сесть в коляску и ускакать от России, которая дома, как неугомонный заимодавец, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, требуя уплаты векселей, давно протестованных перед судом людей и небес?

Цари не только ответственны за личное зло и непосредственно действующее на подлежащих им, но и за те преступления, в которые они впоследствии времени вовлекают народы. Конечно, *диктаторство штыков* дело пагубное не от того, чтобы войны были непросвещеннее и безнравственнее других, но от того, что опасно видеть *вооруженную силу*, присваивающую себе и силу *управляющую*. В современных революциях такое злоупотребление, так сказать, не было во зло употреблено, а напротив в пользу народов, но кто может поручиться, что другие армии, следуя данным примерам, но не к одной цели следуя, не поднимут знамени мятежа в пользу безначалия воинского или какого-нибудь атамана, непосредственного преемника всякого безначалия? А теперь, когда нет *малолетних* ни в каком звании, ни в какой земле, когда всякий и все хочет постигать *причину вещей*, не слишком ли опасно делать, так сказать, вызовы непокорности, посылая войска на войну, противную совести. Может ли государь убежден быть в Лайбахе и Россию знающий по своей дорожной карте, что не найдется в тех полках, кои он в поход посылает²⁹, несколько людей, отказывающихся от послушности и могущих увлечь в непослушность целые батальоны. Знала ли Главная Императорская квартира накануне, что в Петербурге есть гвардейский полк, который даст пример, невидимый в армейских летописях России, а по твердости, благоразумию и порядку, сохраненным в самом бунте, едва ли где и в иных летописях встречаемый?³⁰ В тихую погоду легко погасить пламень: при сильном ветре малейшая искра разносит пожар. В наше время поднялся ветер в Европе. Плывите по нем, государственные кормишки, или буря сорвет вас и кинет в бездну. Об вас жалеть много нечего; святое место пусто не будет, но беда в том, что от вашего упрямства и ослепления и корабли, провидением вверенные вам, могут подвергнуться вашему крушению. Поступая против пользы народной, даете вы право народам стакнуться и поступать против вашей пользы.

Теперь прошло уже время врожденной, предвечной покорности. Люди хотят покориться не прихотям, а пользе, и для того все, что рассуждает, признает необходимостью царствование законов и свержение царствования воли и все, что питает в душе благородную отвагу, стремится восстановить сие царствование. Цари, если хотят удержаться на престоле, должны многое принести из движимого имущества своего на алтарь отечества. Пускай также,

раздирая крепостную запись на армию, посвят<ят>ит<они><ее> расходы [?] государ[ственные?] служению народа и говор<ят>ит, применяя к себе слова собаки в «Воспитании льва»,

*Сынов отечеству даю,
А сам теряю куклы³¹.*

Что значит безгласная покорность войска? Ничего нет беспредельного. — Байонский комендант отвечал Карлу IX: «Государь! я нашел в жителях и войсках честных граждан и храбрых воинов, но не нашел ни одного палача!» — И сей ответ отзывается во всех благородных душах и перейдет из века в век. — Разве *священный союз* не есть Варфоломейская ночь политическая. «Будь католик, или зарежу!» «Будь раб самодержавия, или сокрушу». Вот существенность того и другого разбоя. — Неужели в русской армии не найдется ни одного Дорта? А если найдется, какая цепь последствий может потянуться за таким действием, хотя и будь оно одиноким³².

Les constitutions doivent venir d'en haut*, говорят в мистическом слогe. И конечно! И мы то же говорим, хотя и другими словами. Долг должен платиться должниками! Но если они беспечны или криводушны, то долг этот *взыскивается* заимодавцами. Скажите, глядя на явления современные: les constitutions devraient venir d'en haut**, и вы будете совершенно правы и растолкуете сей по видимому и по установленным правилам неестественный ход, но по законам неминуемым необходимости весьма естественный ход вещей. В городе царствует голод: правление видит возрастающее движение черни, но хлебных запасов своих не отворяет: чернь разбивает их и похищает насильственно то, что приняла бы с благодарностию. В Европе также царствует голод законного устройства: в Виртемберге, Баварии и других землях цари вняли сему воплю голодному, и если у них не роскошествует совершенное благоденствие, то по крайней мере не поражает взоров и сердца вашего зрелище печальное нищеты политической, непрременной предтечи отчаяния!

* Конституции должны прийти сверху (фр.).

** Конституции должны бы прийти сверху (фр.).

18-го марта

Запоздалые с улыбкою холопского удовольствия при разбежавшемся слухе о успехах австрийцев над неаполитанцами говорят: «Да и можно ли было чего другого ожидать?» — Да кто же, дурачье, противуречил вам? Одно благородное участие, принимаемое всегда людьми, возвышенными в стороне правой, одно пламенное желание ей удачного окончания могло заводить левоверные надежды тех, которые уповали, что самое небо отразит покушение неслыханного насильства. Но вы что же тут торжествуете? Гораздо легче сокрушить миллион войска, чем переломить одно мнение. Если бы совет царей в Лайбахе переговорами своими уговорил неаполитанцев отступить от своего дела и вверить им свою судьбу, то в таком случае, правда, могли бы вы *воспеть тебе бога* хвалим на поле победы самодержавия и сказать, что рассудок и нравственная сила на вашей стороне. Мы никогда не оспаривали у вас *убеждения силы*, которое совсем иное, чем *сила убеждения*. Всякое господствующее мнение окупило свое господство кровью своих мучеников. Не забывайте, что Христос *обоготворился* на распятии и что христианство от его крови возросло и далеко раскинуло свои отрасли. И ваше торжество может быть торжеством Пилата и вы, как и он, слепые орудия Провидения, может быть, скрепляете руками вашими то, что безумные руки ваши порываются истребить.

Народ еще не созрел для конституции! — говорят вам здесь и там. Басненная лиса говорила: виноград зелен! Лисы исторические говорят, что мы зелены для винограда.

Народ может быть *переспелым* для конституции, так, но никогда — *недозрелым*. Чем понятия первобытнее, чем отношения, связи, побуждения (*intérêts*) простее и естественнее, тем их представительство легче и удобнее. Отчего французская конституция шатко и валко идет? Не оттого ли, что столетие образованности или, лучше сказать, утонченности, а потом 30 лет сшибок и смятений многосложили и переплели побуждения правительства и побуждения частные? Конституция должна быть более *содержанием* (*régime*) тела народного, предохраняющим его от болезней и укрепляющим его сложение, чем лечением, когда болезни уже в теле свирепствуют³³.

Деспотизм зло; а зло может ли быть приготовлением добра? В действиях физических так, но не в нравственных. Деспотизм

с каждым днем удаляет народ от возможности быть достойным свободой здравой. Исступление свободы смежно с деспотизмом; но *употребление* далеко от него отстоит и тогда какая надежда есть, чтобы народ созрел для свободы под руководством деспотизма совершенно ей противуродного? Прошу покорно, России созреть для конституции под солнцем Аракчеевых, Гурьевых и прочих! Если бы ждать по-вашему поры зрелости, то в самом деле пришлось бы России оправдать слово, сказанное о ней Дидеротом: «C'est un fruit pourri, avant que d'être mûr»*.

Солнце Аракчеевых и Гурьевых может вспалить мозг и зажечь бешенство в народе, но не быть ему никогда Фебом, богом света и здравия! И если безгласной статуе России определено некогда, ударяемой лучами его, отозваться, то, без сомнения, не стройными звуками, как Мемновой статуе, а разве дикими воплями отчаяния отзовется она³⁴.

Уж так и быть, оставить бы *нищим духом* царство небесное, но зачем же отдавать им и царства земные?³⁵

Я хотел бы спросить у этих Лайбахских господ: что благоразумнее и благодетельнее, одерживать частные и одновременные победы над мнением напирющим или руководствовать им? Поток ярый падает с высоты: вы, которые только помощи в физической силе и ищите, ставите с великими издержками камни, путь ему преграждающие, между тем как гидростатика предлагает вам свои уроки для полезного направления стремящихся вод, а опыт готов научить вас, как дать этому наводнению влияние благодетельное и плодотворительное на окрестные нивы. Вместо того, чтобы созывать конгрессы, которые над народами скопляются, как грозные тучи, носительницы громов и бурей, конгрессы, в коих цари выходят на бои рукопашные с мнениями народов, созовите конгресс не царский, а народный: изведите на нем положение умов, дослушайте требования общие и определите правила, по коим должны поступать правительства и коим должны покориться народы. Труд ваш облегчится и выгоды, коих домогаетесь разными пронырствами и насильствами, сами собой выдут к вам навстречу. Но как подозрительным народам не терять терпения, когда вы поминутно сходитесь в угол, перешептываетесь, киваете головою на народы и, стакнувшись, являетесь на их позор, с ног до головы вооруженные единодушием побуждений и действий.

* Это плод, сгнивший до того, как созрел (фр.).

Ибо в старые года народы могли еще питать надежду изредка поживиться на счет ваших личных ссор: теперь заключили вы между собою полное перемирие, чтобы все свои средства сосредоточить против общего врага: против народов...

...Несправедливо называем *холопами* царедворцев. В своих холопах найдете мало льстецов и суеверных обожателей господской власти. Напротив, таковых, если найдутся, приличнее называть *царедворцами*. Вообще в служителях домашних встречаешь какую-то врожденную независимость и недоброжелательство, которые могут быть очень неприятны для службы, но утешительны в отношении человечества, которое только с помощью противуестественных установлений научилось искусству: рабствовать добровольно. В доказательство, что порабощение не есть природное состояние человека, можно заметить, что каждый при случае умеет повелевать, но не каждый может повиноваться. Дух господства внушен человеку самою природою, данницею его различных требований. *Духом повиновения* заразился он в обществе, которого польза побуждает ослаблять его силы и умерять напряжение. Одно: польза общества, другое: польза лица частного. Тайна правления в том и состоит, чтобы согласовывать как можно более ту и другую, и в случаях необходимости пожертвований *части* в пользу *целого* призывать эту часть для общего соображения, как выдать нужную жертву с меньшим ущербом жертвоприносителя и большею выгодой жертвовзымателя. Тут и есть тайна *представительства*, которое, как сфинкс, пожрет всех Лайбахских тупоумцев, не умеющих разгадать его, и поднесет венцы Эдипам, постигнувшим его откровение³⁶.

Не довольно размышляют о том, что цари не могли наравне с народами подвигаться к просвещению соразмерно. Без сомнения, Людовик XVIII немногим образованнее Людовика XIV, а Петр I, конечно, не уступил бы в познаниях Александру I. — Но подданные первых двух царствований далеко отстают от современных, если не в художествах и изящной литературе, то во всем том, что составляет существенность гражданских сведений. Вот чего цари и спесивые их подмастерьи никак понять не могут или не хотят и в чем, быть может, заключается главнейшая причина разлады, господствующей в нынешних событиях. — Писатели современные, пожалуй, и не превзошли предшественников, но

читатели нынешние рассудительнее и многочисленнее. И тогда все еще наш век превосходнее прошлых веков.

Живописна картина нескольких ветвистых гигантов, разбросанных по голой степи; но расчетливый хозяин дорожит более рощею ровною, но дружно усаженною деревьями сочными и матеровыми³⁷.

Остафьево, 13 июня 1823 г.

В сочинениях Мармонтеля находишь: «Discours en faveur des paysans du Nord»*, писанный в 1757 году, для решения задачи, предложенной Обществом Экономическим в Петербурге, о том, «est-il avantageux pour un état que le paysan possède en propre du terrain, ou qu'il ait seulement des Mens meubles? Et jusqu'où le droit du paysan, sur cette propriété devrait-il s'étendre pour l'avantage de l'état»**. Речь писана вообще с жаром, но в ней более риторства и философических видов, чем государственных. Мало применений к местности, мало дела. Рассуждая об опасении, чтобы крестьяне, освобожденные и приобретшие право владения, не нашли в чиновниках тиранов алчнейших, бесчеловечнейших и более надежных на безнаказанность, он говорит: «Во всех монархиях, где хотели оградить свободу, собственность, спокойствие, благоденствие народов, как в римской, китайской и у инков, следовали всегда одному и тому же средству. Везде видели, что судии и приставы поселенные (постоянные) (могли быть легко соблазненными) были податливы на подкуп и что участвующие в притеснении они вскоре делались их сообщниками. Тогда учредили суда подвижные и временных надсмотрщиков (у римлян назывались они Curiosi, у перуанцев — Cucuiricoe, всевидящие, у французов — Missi dominici), кои везде чужие, не заводили никогда ни связей, ни привычек, и в поручении своем нечаянном и быстром не давали времени соблазну преклонить их строгость. Полагая, что задача о <праве> собственности решена в пользу поселян, спрашивают как далеко <можно допустить> должно простираться сие право

* «Речь в защиту северных крестьян» (фр.).

** Выгодно ли для государства, чтобы крестьянин обладал собственным земельным участком или только движимым имуществом? До какой степени может простираться право крестьянина на эту собственность, так, чтобы это было выгодно государству? (фр.).

собственности для пользы государства. На это отвечаю: столь далеко, сколь способность приобретать».

Увы! Какие другие пределы ставить благосостоянию того, который единими трудами может обогатиться? Дай боже, чтобы он надеялся вознестись до степени гражданина зажиточного и могущего! Приобретать в округе*, в коем он родился, есть единое исключение, позволительное в законе. Всякая <преграда> граница, предпоставленная соревнованию людей, сжимает их душу и опечаливает; в особенности же для надежды темница обширнейшая есть все же темница**³⁸...

...Сисмонди в одной статье, напечатанной в *Revue Encyclopédique* [«Ревю Энциклопедик»], говоря о пользе и приятности истории, замечает: Между тем мало привлекательности для человека в изучении того, что могло бы быть благотворным для человечества или для его нации, если он убежден, что и по uznанию истины не будет в его воле привести ее в исполнение и что ни он, ни все ему равные не имеют никакого влияния на судьбу народов, а что те, кои правят ими, не их пользу предназначают целью себе. Он тогда предпочитает оставаться в слепоте, чем глазами открытыми видеть, как ведут его к бездне. Поэтому народы, не пользующиеся свободой и не уповающие на нее, никогда не имеют истинной склонности к истории, иные даже не сохраняют памяти событий минувших, как турки и австрийцы; другие, как арабы и испанцы, ищут в ней одну суетную пищу воображению, чудесные битвы, великолепные празднества, приключения изумительные; прочие еще, и эти многочисленнее, вместо истории народной имеют просто историю царскую. Для царей, а не для народа трудились ученые; для них собрали они все, что может льстить их гордости; они покорили им прошедшее, потому что владычество настоящим было для них еще недостаточно...

* Выше в предложениях своих Мармонтель говорит, что на первый случай можно будет ограничить для поселянина право приобретения границами округа, где он родился. (*Прим. Вяземского.*)

** Это напоминает мне два стиха, гораздо до прочтения писанные:
И светлых нив простор, приют свободы мирной,
Не будет для него темницею обширной. (*Прим. Вяземского.*)

...Ж. Б. Сей говорит: можно представить себе народ не ведающий истин, доказываемых экономией политической, в образе населения, принужденного жить в обширном подземелии, в коем равно заключаются все предметы, потребные для существования. Мрак один не позволяет их находить. Каждый, подстрекаемый нуждою, ищет что ему потребно, проходит мимо предмета, который он наиболее желает или, не замечая, попирает его ногами. Друг друга ищут, окликают и не могут сойтись. Не удается условиться в вещах, которые каждый иметь хочет; вырывают их из рук, раздирают их, даже раздирают друг друга. Все беспорядок, сумятица, насильство, разорение... Пока нечаянно светозарный луч проникает в ограду: краснеешь за вред, взаимно нанесенный; усматриваешь, что каждый может добыть то, чего желаешь. Узнаешь, что сии блага плодятся по мере взаимного содействия. Тысячу побуждений любить друг друга; тысячу средств к честным выгодам являются отовсюду, один луч света был всему виною. Таков образ народа, погруженного в варварство: таков народ, когда он просветится, таковы будем мы, когда успехи отныне неизбежные совершатся...

...«Картина жизни и военных деяний Российско-импер. Генералиссима князя Алек[сандра] Данил[овича] Меншикова, Фаворита Пет[ра] Велик[ого]». Три части. 1803. Есть и другое издание в 4-х частях 1809 г. Так же как и предыдущая книга, историческая компиляция без критики, без нравственной мысли, но по крайней мере с некоторым порядком составленная и писанная слогом сносным. По мнению некоторых, Меншиков — сын шляхтича литовского и в дипломе, данном ему на княжество Ижерское, сказано: князь Александр Дан. Менш[иков] происходит из благородной фамилии литовской, который как за верную службу отца его в гвардии нашей и пр. — Меншиков — Мазарин русский: голова государственная, сердце корыстолюбивое и жадное власти до неутолимости. Как Anne d'Autriche [Анна Австрийская] благоволила к тому, так Екатерина к этому: те же в том и другом замашки сочетать свою кровь с царскою кровью. Петра нельзя укорять в слабости к любимцу своему, столь часто во зло употреблявшему его доверенность и запятнавшему себя многими чертами личной корысти и незаконными поступками. Петр не утаивал от суда преступлений любимца своего, что мог бы он очень легко исполнить, но он миловал его, хотя и застав-

лял всегда расплачиваться и вознаграждать ущерббы казны или частные. Петру 1-му для его геркулесовских подвигов нужны были под-Геркулесы и в этом отношении он должен был дорожить Меншиковым и жертвовать иногда государственною нравственностью пользе того же государства. К тому же он знал, что дубина его распрямит в свое время кривизны безнравственности и не даст ей волю. Злоупотребления любимцев Екатерины, Александра были всегда прикрыты неприкосновенностью самодержавия: у Петра нет. Закон делал свое дело: осуждал. Петр пользовался своим правом помилования. И в чью пользу применял он это право? В пользу того, которого имел он всегда сподвижником во всех своих предприятиях и в виду для будущих предприятий. Ему можно было позволить лицепрятие: в руках его оно не было противонародным орудием³⁹.

(Histoire Tatare du prince Kouchimen. История Петра, изданная в Венеции. История Меншикова, напечатанная в Зеркале света).*

Историк разбираемой книги говорит: «Государь ни одного из иностранцев во всю жизнь свою не возвел в первые достоинства военачальников, и сколь бы кто из них ни славился хорошим полководцем, но он не мог полагаться столько на наемников». Вероятно, в Петре было еще и другое побуждение: он был слишком царь в душе, чтобы не иметь чутья достоинства государственного; он мог и должен был пользоваться чужестранцами, но не угощал их Россиею, как ныне делают. Можно решительно сказать, что России не нужны и победы, купленные ценою стыда, видеть какого-нибудь Дибича начальствующим русским войском на почве, прославленной русскими именами Румянцева, Суворова и других. При этой мысли вся русская кровь стынет на сердце, зная, что кипеть ей не к чему. Что сказали бы Державины, Петровы, если воинственной лире их пришлось звучать готическими именами: Дибича, Толя? На этих людей ни один Русский стих не встанет. — Подозревали Екатерину I-ую в нежном расположении сердца к Меншикову, или побуждаюсь я к этому предположению с тем, чтобы натянуть еще более сравнение мое Меншикова с Мазарином, который вселил к себе платоническую нежность в Анне Австрийской? — Кстати о Екатерине: известный Пуколов уверял при мне Карамзина, что по

* История Татарии князя Кушима (фр.).

каким-то историческим доказательством видно, что Алекс[ей] Петров[ич] был в связи с Екатериною, что Петр застал их однажды в несомнительном положении и что гибель царевича имеет свое начало в этом обстоятельстве⁴⁰...

...Напрасно думают, что желание разрешения нескольких прав гражданских и политических, принадлежащих человеку, члену образованного общества, есть признак неприязни к властям, возмутительного беспокойства: ни мало, мы желаем свободы умственных способностей своих, как желаем свободы телесных способностей, рук, ног, глаз, ушей, подвергаясь взысканию закона, если во зло употребим или через меру эту свободу. Рука — орудие верно пагубное для ближних, когда она висит с плеча разбойника, но правительство не велит связывать руки всем, потому что в числе прочих будут руки и убийственные. В обществе, где я не имею законного участия по праву того, что я член оною общества, я связан. Читая газеты, видя, что во Франции, в Англии человек пользуется полнотою бытия своего нравственного и умственного, видя там, что каждая мысль, каждое чувство имеет свой исток и применяется к общей пользе, я не могу смотреть на себя иначе, как на затворника в (остроге) тюрьме, которому оставили употребление одних неотъемлемых способностей и то с ограничениями; а свобода его в том заключается, что он для службы острога ходит, брэнча цепями, по улице за водою, метет улицы и проч. или собирает милостиню для содержания тюрьмы. В таком насильственном положении страсти должны быть раздражаемы. Вероятно, если (развязать руки) человеку, просидевшему долго с узами на руках, удастся их расторгнуть, то первым движением его будет не перекреститься или добавить милостиню, а разве ударить того и тех, которые связали ему руки и дразнили его на свободе, когда он был связан⁴¹.

«Cinq Mars» [«Сен-Мар»]. Исторический роман, соч[инение] графа Альфреда де Виньи.

Французская литература много успела в последние годы в роде, как назвать? — романтическом или просто естественном, в противоположность роду классическому, который весь искусственный. *Les soirées de Neuillys* [«Вечера в Нейи»], *les Barricades* [«Баррикады»], этот роман — все ознаменовано какою-то трезвостью истины, которая имеет свою живость и свою свежесть, как вода, которая бьет из родника и питает на месте,

а не приторная вода, увядающая и согретая в буфете. В Альфреде де Виньи нет глубокости В. Скотта, но есть тонкость, верность в живописи⁴².

18 мая 1829, Мещерское.

Третьего дня или четвертого дня имел я во сне разговор с каким-то иностранцем о России. Между прочим, говорили мы с ним о 14 декабря. Он удивлялся, что мятежники полагали возмутить народ именем царевича. Я отвечал ему: «Nous ne pouvons pas avoir de révolution pour une idée, nous ne pouvons en avoir que pour un nom»*. Я готов подтвердить на яву сказанное во сне: история тому свидетельница⁴³...

Августа 5-го

...*Всемиловнейшие манифесты*: конечно, право помилования есть одна из неотъемлемых и драгоценнейших принадлежностей власти державной, но применение права сего посредством *всемил[остивейших] манифес[тов]* отвечает ли своему благодетельному началу? Ни мало. В этом случае благотворительная мера падает обыкновенно на негодяев и не касается тех, которые точно, может быть, заслуживали бы снисхождения правительства? И какое имеет право правительство на своей радости простить вора, который украл у меня мою собственность, и выпущенный безнаказанно снова вкрадется в мой дом и обкрадет его; или простить судию, который противузаконно и бессовестно оскорбил меня в правах моих помещика или гражданина? Пускай правительство, т. е. двор, прощает своих врагов. Это так [называемых] политических преступников, своих должников, снимает на год с народа тягостную повинность не с тем, чтобы на другой год воротить упущенное двойным побором, но добросовестно и не наружно, а на самом деле, тут будет истинная милость и манифест не наполнит, как то обыкновенно бывает, тюрьмы новыми преступниками и управы благочиния новыми следственными делами. Ныне эпохи *всемил. Манифес.* — эпохи обратного действующего сатурнал для воришек, негодяев и только. В этом <отношении> случае право

* У нас не может быть революции ради идеи; они могут быть у нас лишь во имя определенного лица (фр.).

помилования теряет все высокое достоинство свое, становится безнравственным и не производит никакой общей народной радости, ибо народ не сочувственник бездельникам, которые сидят под судом за кражу или лихоимство. Народ всегда порадуется прощению так называемых политических преступников, ибо, что ни говори, а он вражды к ним не имеет и почитает их не своими врагами, а врагами правительства⁴⁴.

«У нас нет правительства», — отвечал Шишков, государственный секретарь в комитете министров на вопрос Дмитриева, от чьего лица будет обнародовано известие о взятии Москвы, читанное предварительно в Комитете по приказанию государя. Дмитриев, слушая это нелепое сочинение, в котором кто-то на конце падает на колени и молится богу, спросил, в каком виде будет оно напечатано, просто ли журнальною статьею или объявлением правительства. На это и грянул свой ответ Шишков⁴⁵.

Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения. В этой любви патриот может сказать с Жуковским:

В любви я знал одни мученья.

Какая же тут любовь, спросят, когда не за что любить? Спросите разрешения загадки этой у строителя сердца человеческого. За что любим мы с нежностью, с пристрастием брата недостойного, сына, за которого часто краснеем? Собственность — свойство не только в физическом, но и в нравственном, не только в положительном, но и в отвлеченном отношении действует над нами какою-то талисманною силою⁴⁶.

Остерман, кажется, в военном совете в кампании 12-го года сказал, кажется, Паулучи: «Для вас Россия рубашка, а для меня она моя кожа»⁴⁷.

Какой-то англичанин спросил в Италии у Алек[сандра] Булгакова: «Есть ли у вас дураки между русскими?» Удивленный таким вопросом, он отвечал: «Вероятно, найдется, как и между вами, французами и всеми народами». «Не о том дело, — продолжал англичанин, — не понимаю только, почему, имея русских дураков, правительство ваше употребляет чужестранных, н[а] п[риимер], Мочениго»⁴⁸ ...

Книжка третья

...*Пензенский театр*. Директор *Гладков, Буянов, провонявший чесноком и водкой*. Артисты крепостные, к которым при случае присоединяются семинаристы и приказные. Театр, как тростник от ветра, колыхаясь, ветхий и холодный, род землянки. В ложи сходишь по лестнице крючковой. Освещение сальными свечами, кажется, поголовное по числу зрителей. На каждого зрителя по свече. В мое время горело, или, лучше сказать, тускнело свеч 13. Я призвал в ложу мальчика, которого нашел при дверях, и назначил его историографом и биографом театра и артистов и содержателя. «Кто эта актриса? — Саша, любовница барина. Он на днях ее так рассек, что она долго не могла ни ходить, ни сидеть, ни лежать. — Кто эти? — Буфетчик и жена его. Этот? — Семинарист, который выгнан был из семинарии за буянство. А этот? — Бурдаев, приказный, лучший актер! А этот бывший приказный, который просидел год в монастыре, на покаянии. Он застрелил нечаянно на охоте друга своего Монахтина, также приказного». По несчастию Гладков имеет три охоты, которые вредят себе взаимно: охоту Транжирина, пьянства и собачью. Собаки его не лучше актеров: после несчастной травли он вымещает на актерах и бьет их не на живот, а на смерть. После несчастного представления он вымещает на собаках и велит их убивать. Вторая охота его, постоянная, служит подкреплением каждой в особенности и совокупно. Впрочем, *Саша* не дурна собою и не многим, а, может быть, и ничем не хуже наших императорских. Актер* также недурен. Давали Необитаемый остров, Козачий офицер и дивертисемент с русскими плясками и песнью: За морем синичка не пышно жила. Вообще мало карикатурного и, должно сказать правду, на Московском театре, в сравнении столицы с Пензою и прозванием императорским с Гладковским, более нелепого на сцене, чем здесь⁴⁹. Более всего, что пьяный помещик имеет право терзать своих подданных за то, что они дурно играли или не понравились помещику. Право господства не должно бы простирается до этой степени. При рабстве, puisque рабство у а**, можно допустить право помещика взыскивать с крепостных своих подати деньгами или натурою и промышленностью,

* Оставлено место, но имя не вписано.

** Так как рабство налицо (фр.).

свойственными их назначению и включенными в круг действия им сродного, и наказывать за неисполнение таковых законных обязанностей. Но обеспечить законною властью и сумасбродные прихоти помещика, который хочет, чтобы его рабы плясали, пели, ломали комедь без дарования, без охоты, есть уродство гражданское и оно должно бы прекращаемо начальством, предводителями, как злоупотребление власти. И после таких примеров находятся еще у нас заступники крепостного состояния! Лубяновский рассказывал мне о возмущении крестьян Апраксина и Голицыной в Орловской губернии числом 20 000 душ, когда по вошествии Павла приказал он и от крестьян брать присягу на верноподданничество. Крестьяне, присягнув государю, почитали себя изъятыми из владения помещичьего. Непокорность их долгое время продолжалась, и Репнин ходил на них с войском. Лубяновский был тогда адъютантом при князе. У крестьян были свои укрепления и пушки. Присланного к ним для усмирения держали они под арестом. Репнина, подъехавшего к селению их с словами убеждения и мира, прогнали они от себя, ругали его. Репнин велел пустить на них несколько холостых выстрелов. Сия ложная угроза пуще их ободрила: они бросились вперед. Наконец, несколько картечных выстрелов привели возмущенных к покорству. Происшествие, похожее на происшествие 14 декабря, только последствия были человеколюбивее. Зачинщиков не нашли и не искали. Репнин велел похоронить убитых картечью и поставил какую-то доску с надписью над ними. Дело это казалось так важно, что Павел писал Репнину: «Если мой приезд к вам, может быть, нужен, скажите, я тотчас поеду»⁵⁰. — Возмущения нынешние в деревнях приписываются проделкам либералов: кто из либералов тогда действовал на крестьян? Рабство, состояние насильственное, которое должно по временам оказывать признаки брожения и, наконец, разорвать обручи недостаточные...

Книжка пятая

...Я сегодня читал указ о Шервуде⁵¹. Правительство превозносит его подвиг и придает <ему> его имени в вечное и потомственное владение прозвание *верный*. Не одобряю этого. Правительство может и должно вознаграждать *такие политические добродетели* деньгами, но не похвалами, подобающими одним нравственным деяниям. По рассудку оно обязано признательностию за такую

услугу; но по совести не может уважать услужника. Зачем же ханжить и выдавать перед светом черное за белое, доносчика за спасителя отечества. Если Шервуд и спас его, то он не более как *подкупленный гусь*. Таких спасителей можно подкупать за сто рублей. Легко найти человека, который из корысти выдаст вам тайну вашего противника. Дают ли гласные государственные знаки отличия лазутчикам, переметчикам в военное время? Их отличают одними червонцами. Таково и положение Шервуда. В его деле нет нисколько великодушия, ибо он предавал слабых сильным; нельзя и назвать его подвига *верностию*, ибо достойное уважения соблюдение *верности* должно быть сопряжено с пожертвованиями, с опасностью. Здесь нет ни того, ни другого. Не сужу лично Шервуда, ибо не знаю его, но каждый благоразумный подлец поступил бы как он, рассчитав, что, во всяком случае, он по крайней мере меняет неверное на верное. Не от того ли он и *верный*, что сыграл *на верное*? Успех заговорщиков был сомнителен: его успех, выдавая их правительству, был математической очевидности. Довольно и того, что выгоды правительства часто основаны на нравственных непристойностях, чтобы не сказать хуже, но, по крайней мере, пользуйтесь ими во мраке тайной полиции, а не выводите их с наглостию на белый свет и помните, что можно любить измену, но должно презирать всегда изменников. <Если> Шервуд вошел ли в заговор добросовестно, или как тать, чтобы наложить на них руку, равно играл он ролю, которую честный человек не хотел бы добровольно принять на себя. Как же правительству объявить всенародно добродетельным подвигом то, чем стал бы гнушаться честный человек. Пожалуй скажут, что это верх добродетели, род геройского самоотвержения, но в таком случае не переходят в гвардию. Если самоубийство терпимо и понятно, то разве в таком случае, когда долг чести и голос совести принуждает вас совершить поступок бесчестный и бессовестный. Такое двусмысленное положение должно непременно разрешить ознаменованием беспрекословного бескорыстия. Правительству не должно слишком явно ругаться простосердечием нашим; довольно и того, что его и, следовательно, наша польза не дозволяет ему отплатить презрением и опозорить гласным образом услугу Шервуда. Мы тут видим одну из политических необходимостей, от коих сердце ноет, но перед коими разум молчит. Но не жалуйте его в герои, а то негодование и частное убеждение

совести каждого заглушат голос политической необходимости и падут на вас неотразимою укорюю. Двух нравственностей быть не может: частной и народной. Она все одна: могут быть две пользы, два образа суждения относительно истин частных и народных или государственных, — это дело другое! На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и цицеронскими отличиями предателей товарищества, шпионов, доносчиков. Они навоз общества политического: им пользуешься при случае, но все держишь на заднем дворе и затыкаешь себе нос, когда мимо проходишь. Что скажете вы, если страстно благодарный агроном, в память хорошего урожая, доставленного ему навозом, станет держать его в гостинной, а на почетном месте, в богатом хрустальном сосуде и станет заставляя гостей своих прикладываться к нему? ...

...Sully говорил: «Le labour et le pâturage sont les deux mamelles de l'Etat*».

В царствование Людовика XI святой François de Paule [Франсуа де Поль] вывез из Италии новый род груши, которую король из уважения к святости его назвал именем: *bon chrétien***.

Генрих IV ревностно покровительствовал успехи земледелия и садоводства. Как наш Петр, он имел на все время. Мы не только покоимся под сению славы, им насажденной в России, но и под тению дерев, насажденных им. Новая, то есть настоящая Россия, есть точно творение его мысли всеобъясвщей. Царствование Екатерины споспешествовало созрению. Другие царствования ничего не насадили, а разве только простригли чащу: иное очистили, но зато и многое погубили и извели самые соки. Теперь во многом нужен новый Петр, то есть новый зиждитель. После Екатерины след был еще горячий: теперь остыл.

Генрих, желая основать благоденствие земледелия, предписывал Сюлли оказывать небрежение к дворянам, приезжавшим в Париж, чтобы величаться своею роскошью. Он хотел, чтобы они жили по своим поместьям и занимались ими: «Счастлив, — говаривал он, — кто имеет 10 000 ливров годового дохода и никогда не видал короля!»⁵² ...

* Сюлли говорил: «Пашня и пастбище — это два сосца государства» (фр.).

** Добрый христианин (фр.).

...В «Journal des Débats» [«Журналь де деба»] 25 июня есть манифест государя о смертной казни в княжестве Финляндском. В переводе он очень неясен. — Сыскать его в подлиннике. — Существо его в том, что смертная казнь, видно расточаемая уголовным уложением Финляндским, будет в случаях, не касающихся до преступлений государственных, оскорблений величества, *entaché de lèse-majesté*, применяема в ссылку в Сибирь на каторжные работы, но редакция очень многоречива и запутана. Во французс[ком] переводесказано: «*Aussitôt qu'un criminel du genre masculin*»*. Что это за грамматический преступник? Опечатка ли это, вместо *du sexe masculine*** или просто глупость? Вообще у нас все официальные бумаги и акты худо переводятся, зато, правда, почти все и худо пишутся! — Ссылка в Сибирь не нарушает ли прав финляндцев? В польской конституции именно отъемлется навсегда кара высылки, *del'exportation*, и верно тут подразумевалась Сибирь. Если ссылка в Сибирь не нарушение политических прав Финляндского княжества, то к чему и манифест? И без него знают, что государь имеет право помилования и облегчения, если, впрочем, вечная каторга в Сибири похожа на облегчение? Может быть, это предисловие к последствиям Верховного суда и род повешения, что государь не почитает себя в праве миловать тех, которых преступление «*serait assez grave pour tendre à troubler la tranquillité del'Etat (et la sûreté), compromettre l'ordre public, la stabilité du trône, et être entaché de lèse-majesté*»***⁵³.

19-го [июля]

Не знаю, справедлива ли догадка моя, изъявленная выше, но по крайней мере 13-ое число жестоко оправдало мое предчувствие!⁵⁴ Для меня этот день ужаснее 14-го. — По совести нахожу, что казни и наказания не соразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном царе-

* Как только преступник мужского рода (*фр.*).

** Мужского пола (*фр.*).

*** Было бы настолько серьезно, что могло бы нарушить спокойствие (и безопасность) государства, компрометировать общественный порядок, прочность трона и наносило бы оскорбление его величеству (*фр.*).

убийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного. Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения подобных покушений, но права его не идут далее. Я защищаю жизнь против убийцы, уже подъявшего на меня нож, и защищаю ее, отъеменя жизнь у противника, но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности еще только возможной, лишением жизни его самого, то выходит, что уже убийца настоящий не он, а я. Личная безопасность, государственная безопасность, слова многозначительные, и потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества будет опасностью каждого и всех. Правительство имело право и обязанность очистить, по крайней мере на время, общество от врагов его настоящего устройства, и обширная Сибирь предлагала ему свои безопасные заточения. Других должно было выслать за границу, и Европа и Америка не устрашились бы наводнения наших революционистов. Не подобными им людьми совершаются революции не только в чуже, но и дома. Пример казней, как необходимый страх для обуздания последователей, есть старый припев, ничего не доказывающий. Когда кровавые фазы Французской революции, видевшей поочередную гибель и жертв, и притеснителей, и мучеников, и мучителей, не служат достаточными возвещениями об угрожающих последствиях, то какую пользу принесет лишняя виселица? Когда страх казни не удерживает руки преступника закоренелого, не пугает алчного и низкого корыстолюбия, то испугает ли он страсть, возвышаемую благородными побуждениями и упоенную всеми возможными чарами славы, страсть, ослепленную бедственными заблуждениями, — положим и так, — но все вдыхающую в душу необыкновенный пламень и силу, чуждые душе мрачного разбойника, посягающего на вашу жизнь изо ста рублей. Плаха грозит и ему также, как и государственному преступнику, но ему она является во всем ужасе позора, а последнему в полном блеске апофеоза мученичества. Когда страх не действителен на порок, всегда малодушный в существе своем, то подействует ли он на фанатизм, который в самом начале своем есть уже ис-

ступление или *выступление* из границ обыкновенного. Одни безумцы могут затеять революцию на свое иждивение и для своих барышей. Рассудок, опыт должны им сказать, что первые затейщики бывают первыми жертвами, но они безумцы, — в них нет слуха для внимания голосу рассудка и опыта! Следовательно, и казнь их будет бесплодною для других последователей, равно безумных. А для того, который замышляет революцию в твердом и добросовестном убеждении, что он делает должное, личный успех затмевается в ложном или истинном свете того, что он почитает истиною!

Кровь требует крови. Кровь, пролитая именем закона или побуждением страсти, равно вопит о мести, ибо человек не может иметь право на жизнь, ближнего. Закон может лишить свободы, ибо он ее и даровать может; но жизнь изъемлетя из его ведомства. Смерть таинство: никто из смертных не разгадал ее. Как же располагать тем чего мы не знаем? Может быть, смерть есть величайшее благо, а мы в святотатственной слепоте ругаемся сею святынею! Может быть, сие таинство есть звено цепи нам неприступной и незримой, и что мы, расторгая его, потрясаем всю цепь и расстроиваем весь порядок мира, запредельного нашему. Сии предположения могут быть приняты в уважение и не одним суеверием. Конечно, они сбиваются на мечтательность, но чем доказать их неосновательность, какими положительными опровержениями их низринуть? Человек, закон не могут по произволу даровать жизнь, следовательно, не властны они даровать и смерть, которая есть ее естественное и непосредственное последствие.

20-го [июля]

Если смертная казнь и в возвышенном отношении есть мера противуестественная и нам не подлежащая, то увидим далее, что как наказание не согласна она с целию своею. Может ли смерть, неминуемая участь каждого, быть почитаема за верховное наказание, которое в существе своем должно быть чем-то отменным, изъятым из общего положения? Может ли мысль о смерти остановить того, который не уверен ни в одном часе бытия своего? Сколько людей хладнокровно разыгрывают жизнь свою в разных опасных испытаниях, в поединках, в предприятиях дерзновенных? Если страх насильственной смерти был

бы так действителен над человеком, то из кого вербовались бы армии? В войне смерть поражает не каждого, но разве и заговорщик не предвидит удачи? Остается одно поношение смерти позорной, но сказано справедливо:

Le crime fait la honte et non pas l'échafaud!*

Если воспаленное воображение, если совесть не говорят, что я посягаю на дело преступное, то мысль, что светлейший Лопухин почтет оное за преступление, не остановит меня⁵⁵. Говорю здесь об одних политических преступниках, коих единственное преступление в *мнении*, доведенном до *страсти*. У других преступников и другие страсти: но во всяком случае мысль о смерти никого испугать не может. Человек, рассуждающий хладнокровно, скажет: «Я могу только ускорить час свой, но все пробить ему должно! Сколько раз висела у меня жизнь на волоске от неосторожности моей, от прихоти. Кто уверит меня, что завтра не постигнет меня смертельная болезнь, которая повлечет меня к гробу томительною и страдальческою кончиною, или что сегодня не обрушится на меня смерть нечаянная?» — Человеку в жару страсти, или страстей своих порочных или возвышенных, все равно, не нужно ободрять себя и рассуждениями: он в слепом отчаянии ничего не видит, кроме цели своей, и бешено рвется к ней сквозь все преграды и мимо всех опасностей. Страх смерти может господствовать в душе ясной, покойной, любующейся настоящим, но не такова душа заговорщика. Она волнуема и рвется из берегов. Мысль о смерти теряется в буре замыслов, надежд, страстей, ее терзающих. Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя слов своих к России: «*честному человеку не должно подвергать себя виселице!*» Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласите вы с нею самоотречение мучеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Теля, Шарлоту Корде и других им подобных? Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно терпеть. Но можно ли составить из того положительные правила? Хладнокровный вытерпит более, пламенный энтузиаст гораздо менее. Как ни говорите, как ни вертите, а политические преступления *дело мнения*.

* Преступление постыдно, а не эшафот! (фр.).

22-го [июля]

Сам Карамзин сказал же в 1797 году:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно⁵⁶.

Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному. Был ли же Карамзин преступен, обнаруживая свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегме, приведенной выше? Вот что делает разность мнений! Несчастный Пущин в словах письма своего (Донесение следственной комиссии, 47 стр.): «*Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай*»⁵⁷ дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом. Человек ранен в руку; лекаря сходятся. Иным кажется, что антонов огонь уже тут и что отсечение члена единственный способ спасения; другие полагают, что еще можно помирволить с увечьем и залечить рану без операции. Одни последствия покажут, которая сторона была права; но различность мнений может существовать в (людях) лекарях равно сведущих, но более или менее сметливых и более или менее надежных на вспомогательство времени и природы. Разумеется, есть мера и здесь: лекарь, который из оцарапки на пальце поспешит отсечь руку по плечу, опасный невежда и преступный палач: революционеры Англии и Франции (если они существуют), которые, раздраженные частными злоупотреблениями, затеивают пожары у себя, также нелепо односторонни в уме или преступно себялюбивы в душе, как и эгоист, который зажигает дом ближнего, чтобы спечь яйцо себе⁵⁸. Теперь вопрос: достигла ли Россия до степени уже неслыханного долготерпения и крики мятежа были ли частными выражениями безумцев или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском

renforcé* общего ропота, стенаний и жалоб? Этот вопрос по совести и по убеждению разума могла разрешить бы одна Россия, а не правительство и казенный причет его, которые в таком деле должны быть слишком пристрастны. Правительство и наемная сволочь его по существу своему должны походить на Станареля, который думал, что семейство его сыто, когда он отобедает⁵⁹. Поставьте судьями врагов настоящего положения, не тех, которые держатся и кормятся злоупотреблениями его, которых все существование есть, так сказать, уродливый нарост, образованный и упитанный гнилью, от коей именно и хотели очистить тело государства (законными или незаконными мерами — с сей точки зрения — все равно, по крайней мере условно, condition nellement); нет, призовите присяжных из всех состояний общества, из всех концов государства и спросите у них: не преступны ли те, которые посягали на перемену вашего положения? Не враги ли они ваши? Спросите у них по совести: не ваши ли общие стенания, не ваш ли повсеместный ропот вооружил руки мстителей, хотя и не уполномоченных вами на деле, но действовавших тайно в вашем смысле, тайно от вас самих, но по вашему невыраженному внушению? Ответ их один мог бы приговорить или спасти призванных к суду. Но решение ваше посмеятельное. Правительство спрашивает у своих сообщников: не преступны ли те, которые меня хотели ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из коего вывела моя слепая прихоть и моя польза, худо мной самим постигнутая? Ибо вот вся сущность суда: вольно же вам после говорить: *«таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено»* (М[анифест] 13-го июля). В этих словах замечательное двоякое значение. И конечно, дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был ничто иное, как вспышка общего неудовольствия. Там огонь тлел безмолвно, за недостатком горючих веществ, здесь искры упали на порох, и они разразились. Но огонь был все тот же! Но вы не то хотели сказать, и ваша фраза есть ошибка и против логики языка, и против логики совести. Дело, задевающее за живое Россию, должно быть и поручено рассмотрению и суду России: но в Совете и Сенате нет России, нет ее и в Ланжероне и Комаровском! А если и есть она, то эта Россия

* Усиленным (фр.).

самозванец и трудно убедить в истине, что сохранение этой России стоит крови несколько русских и бедствий многих. Ниспровержение этой мнимой России и было целию голов нетерпеливых, молодых и пламенных: исправительное преобразование ее есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительства забывают, что народы рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству *молитв вооруженных...*

...Умел же и осмелился же Верховный уголовный суд предписывать закон государю, говоря в докладе: «И хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов; но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностью государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны». Тут, где закон говорит, что значат ваши умствования и ваши предположения? Когда дело идет о пролитии крови, то тогда умеете вы дать вес голосу своему и придать ему государственную значительность! О подлые тигры! и вас-то называют всею Россию и в ваших кровожадных когтях хранится урна ее жребия! — А в докладе следственной комиссии не хотели и побоялись оставить вопль жалости, коим редактор хотел окончить его, чтобы обратить сострадание государя на многие жертвы, обреченные всей лютости закона буквального, но которые должны быть бы изъяты из списка ему представленного, по многим и многим уважениям.

Как нелеп и жесток доклад суда! Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений одиннадцать, а казней по настоящему три: смертная, каторжная работа и ссылка на поселение. Все прочие подразделения мнимые или так сливаются оттенками, что не разглядишь их! А какая постепенность в существе преступлений! Потом, какое самовластное распределение преступников по разрядам. Капитан Пуцин в десятом разряде осужден к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги, а преступление его в том: что *«знал о приготовлении к мятежу, но не донес»!* А в одиннадцатом разделе осуждаемых к лишению токмо чинов, с написанием в солдаты с выслугою, есть принадлежавший к тайному обществу и лично действовавший в мятеже⁶⁰.

Тургенев, осужденный к смертной казни отсечением головы в первом разряде, Тургенев, не изблеченный в умысле на цареубийство, — и в шестом разряде осуждаемых к временной ссылке в каторжную работу на 6 лет, а потом на поселение участвовавший в *умысле цареубийства*.

Еще вопрос: что значит *участвовать* в умысле цареубийства, когда переменою в образе мыслей я уже отстал от *мысленного участия*? И может ли *мысль* быть почитаема за *дело*? Можно ли наказывать, как вора, человека, который лет десять тому помышлял, что не худо было бы ему украсть у соседа сто рублей, и потом во все продолжение этих десяти лет бывал ежедневно в доме соседа, имел тысячу случаев совершить покражу и не вынес из дома ни полушки⁶¹.

Помышление о перемене в нашем политическом быту роковую волною прибавало к бедственной необходимости цареубийства и с такою же силою отбивало, а доказательство тому: цареубийство не было совершено. Все оставалось на словах и на бумаге, потому что в заговоре не было ни одного цареубийцы. Я не вижу их и на Сенатской площади 14 декабря, точно также, как не вижу героя в каждом воине на поле сражения. Может быть, он еще струсит и убежит от огня. Вы не даете Георгиевских крестов за одно намерение и в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно и *убийственную болтовню* (*bavardage atroce*, как назвал я, прочитавши все сказанное о них в докладе комиссии) ставите вы на одних весах с убийством уже совершенным. — Что за Верховный суд, который как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайные и давно отложенные помышления и карает их как преступление налицо! Неужели не должно здесь существовать право давности? Например, несчастный Шаховской! Что могло быть общего с тем, что он был некогда, и тем, что был после. И один ли Шаховской? Зачем так злодейски осуществлять слова? Мало ли что каждый сказал на своем веку? Неужели несколько лет жизни покойной, семейной, не значительнее нескольких слов, сказанных в чаду молодости, на ветер...

30 июля

...Я писал сегодня Жуковскому: «Чувство, которое имели к Карамзину живому, остается теперь без употребления: не к кому из земных приложить его. Любим, уважаем иных, но все нет той

полноты чувства. Он был каким-то животворным, лучезарным средоточием круга нашего, всего отечества. Смерть Наполеона в современной истории, смерть Байрона в мире поэзии, смерть Карамзина в русском быту оставила по себе бездну пустоты, которую нам завалить уже не придется. Странное сличение, но для меня истинное и неизысканное! При каждой из трех смертей у меня как будто что-то отпало от нравственного бытия моего и как-то пустее стало в жизни. Разумеется, говорю здесь, как человек, член общего семейства человеческого, не применяя к последней потере частных чувств своих. Смерть друга, каков был Карамзин, каждому из нас есть уже само по себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь; но в его смерти, как смерти человека, гражданина, писателя, русского, есть несметное число кругов все более и более расширяющихся и поглотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых мыслей» —⁶²...

8-го [августа]

Книжка седьмая⁶³
(1828–1833)

ЗАПИСКА*
О КНЯЗЕ ВЯЗЕМСКОМ, ИМ САМИМ СОСТАВЛЕННАЯ⁶⁴

...Обращая внимание на мое положение в обществе, вижу, что оно в некотором отношении может показаться неприязненно в виду правительства: допрашивая себя, испытывая свою совесть и свои дела, вижу, что настоящее мое положение не естественное, мало мне сродное, что оно более насильственное, что меня, так сказать, втеснили в него современные события, частные обстоятельства, посторонние лица и, наконец, само правительство,

* Следующая записка была чрез Жуковского доставлена гр. Бенкендорфу, им доложена государю, который приказал препроводить ее в Варшаву к в[еликому] к[нязю] Константину Павловичу. В письме к к[нязю] Голицыну с именами Греча и Булгарина упоминаю и Воейкова. Не очень стою за честность его, но обдумавши дело, прихожу к заключению, что несправедливо назвал его. Тут, вероятно, действовал один Булгарин, а Греч разве только что потакал. (Прим. Вяземского.)

которое, приписав мне неприязненные чувства к себе, одним предположением уже облекло в сущность и дело то, что, может быть, никогда не существовало. Как бы то ни было нынешнее мое невыгодное положение есть более следствие того, что некогда было, нежели непосредственное следствие того, что есть и быть не переставало. Отдав отчет в некоторых эпохах жизни моей, в некоторых свойствах моего характера, исповедовав откровенно образ мыслей и чувств моих, я, может быть, успею разуверить тех, которые судят более меня по предубеждениям, данным обо мне недоброжелательством, <доставленным>* нежели по собственным моим делам. В сей надежде решил я составить о себе записку и предаю, ее беспристрастию моих судей.

До 1816-го года был я не замечен правительством, темная служба моя, пребывание в Москве, хранили меня в неизвестности. В то время не было еще хода на слово *либерал*, и потому мои тогдашние шутки, эпиграммы пропадали так же невинно, как и невинно были распускаемы. Приезд в Москву Николая Николаевича Новосильцева переменил мою судьбу. По некоторым благородным преданиям о прежней службе его, я уважал Новосильцева. Между тем мне всегда казалось, что мне нельзя служить с удовольствием иначе, как под начальством человека просвещенно образованного, лично мною уважаемого, и потому, остававшись в долгом бездействии, я стал искать случая служить при нем. В этой взыскательности, в этом, так сказать, романическом своенравии, заключается, вероятно, одна из главных причин моих неудовольствий. Не видя на поприще властей человека, которому мог бы я предаться совестью и умом, после ошибки своей и разрыва с службою под начальством Новосильцева пребывал я всегда в нерешимости и не вступал в службу, хотя многие обстоятельства и благоприятствовали моему вступлению. Я был определен к Новосильцеву и приехал в Варшаву вскоре после государя императора. Открылся сейм. На меня был возложен** перевод речи, произнесенной государем. Государь, <увидевшись со мною> увидя*** меня на обеде у Новосильцева, благодарил меня за перевод. С того времени государь при многих случаях

* *Зачеркнуто карандашом.*

** Не вполне. За краткостью времени речь была передана по клочкам чиновникам канцелярии. (*Позднейшее прим. Вяземского карандашом.*)

*** *Позднейшее исправление Вяземского.*

изъявлял мне лично признаки своего благоволения. Вступление мое, так сказать, в новую сферу, новые надежды, которые открывались для России в речи государевой, характер Новосильцева, лестные успехи, ознаменовавшие мои первые шаги, все вместе дало еще живейшее направление моему образу мыслей, преданных началам законной свободы и началам конституционного монархического правления, которое я всегда почитал надежнейшим залогом благоденствия общего и частного, надежнейшим кормилом царей и народов. Вслед за этим был поручен мне перевод на русский язык Польской хартии и дополнительных к ней уставов образовательных. Спустя несколько времени, поручено было Новосильцеву государем императором составить проект конституции для России. Под его руководством занялся этим делом бывший при нем французский юрист Deschamps [Дегдан]: переложение французской редакции на русскую было возложено на меня. Когда дело подходило к концу, Новосильцев объявил мне, что пошлет меня с оконченною работою к государю императору в Петербург и представит меня как одного из участников в редакции, дабы государь император мог в случае нужды потребовать от меня объяснения на проект и вместе с тем передать мне свои высочайшие замечания для сообщения ему, Новосильцеву. Намерение послать меня с таким важным поручением огласилось в нашей канцелярии; в ней имел я недоброжелателей, открылись происки: старались охолодить Новосильцева к возложенному на него делу, ко мне, к отправлению меня в Петербург. Дело, которое сначала кипело, стало остывать. Немало смеялись над Прадтом, сказавшим, что Наполеон однажды вскричал: «Un homme de moins et j'étais encore le maître du monde — et cet homme c'est moi*», — прибавляет Прадт. Пускай посмеются и надо мною: но едва ли не в праве сказать: Не будь я в канцелярии Новосильцева, и Россия имела бы конституцию**.

Не помню, когда проект, у нас составленный, был поднесен государю. В приезд мой в Петербург 1819-го года имел я счастье быть у государя в кабинете его на Каменном Острове. Велено мне было приехать в четыре часа после обеда за письмом к Новосиль-

* Одним человеком меньше, и я еще был бы властелином мира, и этот человек — я (*фр.*).

** Канцелярская зависть ко мне затормозила дело. То есть не канцелярская, а одного Байкова. (*Позднейшая вставка Вяземского.*)

цеву. Государь говорил со мною более получаса. Сначала спрашивал он меня о Кракове, куда я незадолго перед тем ездил; оправдывал свои виды в рассуждении Польши, национальности, которую хотел сохранить в ней, говоря, что меры, принятые императрицею Екатериною при завоевании Польских областей, были бы теперь несогласны с духом времени; от политического образования, данного им Польше, перешел он к преобразованию политическому, которое готовит он России. Сказал, что знает участие мое в редакции проекта Русской конституции, что доволен нашим трудом, что привезет его с собою в Варшаву и сообщит критические замечания свои Новосильцеву, что он надеется непременно привести это дело к желаемому окончанию, что на эту пору один недостаток в деньгах, потребных для подобного государственного оборота, замедляет приведение в действие мысли для него священной; что он знает, сколько преобразование сие встретит затруднений, препятствий, противоречия в людях, коих предубеждения и легкомыслие приписывают сим политическим правилам* многие бедственные события современные, когда, при беспристрастнейшем исследовании, люди сии легко могли бы убедиться, что беспорядки оные проистекают от причин совершенно посторонних. Предоставляю судить, какими семенами должны были подобные слова оплодотворить сердце, уже раскрытое к политическим надеждам, которые с того времени освятились для меня самою державною властью. Здесь должно прибавить еще, что в самый тот приезд мой в Петербург я был соучастником и подписчиком в записке, поданной государю, по предварительному его на то соизволению, от имени графа Воронцова, князя Меншикова и других, в которой всеподданнейше просили мы его о позволении приступить к теорическому рассмотрению и к практическому решению важного государственного вопроса об освобождении крестьян от крепостного состояния. Государь, говоря после с Карамзиным о том, что желание освобождения крестьян разделяется многими благомыслящими русскими помещиками, назвал ему в числе других и меня. Тут Карамзин и узнал о поданной нами бумаге и о участии моем в ней, потому что

* Desordres qui leur seraient comme inherents tandis que etc., etc. [Беспорядки, которые им были как бы присущи, в то время как... и т. д. и т. д.] Говорил он по-французски. В этих последних словах был, вероятно, намек на противоположные мнения Карамзина. (Прим. Вяземского.)

мы обязались держать попытку нашу в тайне, пока не последует на нее решительное высочайшее согласие. Генерал-адъютант Васильчиков, сперва подписавший эту бумагу, а на другой день отказавшийся от своей подписи, вероятно, был главнейшею причиною неудачи в деле, которое началось под счастливым знаменем*.

Сим кончается пора моих блестящих упований. Вскоре после того политические события, омрачая горизонт Европы, набросили косвенно тень и на мой ограниченный горизонт. Государь приехал в Варшаву. Открылся второй Сейм. Он уже не был празднеством для Польши, ни торжеством для государя. Разными мерами, не расчетливою государственною пользою внушенными, привели польские умы в некоторое раздражение, поселили в государе недоверчивость. Поляками управлять легко, а особливо же русскому царю. Они чувствуют свое бессилие. С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Они народ нервический и щекотно-раздражительный. Наполеон доказал, что легко их заговаривать. В благодарность за несколько политических мадригалов, коими ласкал он ее самохвальное кокетство, Польша кидалась для него в огонь и в воду. Благомыслящие из польских либералов говорили мне, что поляки должны всегда иметь на виду, что царь конституционный в Польских преддвериях, император самодержавный дома в России. Эта истина была слишком очевидна и служит обеспечением. Но видно посредники между государем и Польшею поступали ошибочно: верно ни государь не хотел размолвки с нею, ни еще того вернее, она с ним, но между тем в речи государя при закрытии

* Посредником и, так сказать, докладчиком между нами и государем был Мих[аил] Семенович] Воронцов. Илар[ион] Вас[ильевич] Васильчиков объяснял свое отступление особенно тем, что он не отделенный сын при отце и потому не считает себя в праве вмешиваться в вопрос помещико-крестьянский. Записку нашу писал, вероятно, Николай Тургенев. (*Прим. Вяземского.*)

Это примечание Вяземского в ПС, IX не опубликовано. Упоминание в дальнейшем тексте «Исповеди» о «поляках в Кремле или русских в Праге» надо понимать как воспоминание о занятии поляками Москвы в начале XVII в. и о взятии русскими войсками под командой Суворова в 1794 г. Праги — предместья Варшавы.

Тропавский конгресс — конгресс монархов России, Пруссии и Австрии («Священный союз»), состоявшийся в конце 1820 г. в Троппау в связи с революционным движением в Италии и Испании.

второго сейма размолвка огласилась и разнеслась с высоты трона по Европе, которая всегда радуется домашним ссорам в России, как завистливые мелкопоместные дворяне радуются расстройству в хозяйстве богатого и могущего соседа. Я был любим поляками, в числе немногих русских был принимаем в их дома на приятельской ноге. Но ласки отличнейших из них покупал я не потворством и не отриновением национальной гордости, напротив, в вопросах, где отделялась русская польза от польской, я всегда крепко стоял за первую и вынес не один жаркий спор по предмету восстановления старой Польши и отсечения от России областей, запечатленных за нами кровью наших отцов. Дело то, что, живя в Польше, не ржавел я в запоздалых воспоминаниях о поляках в Кремле или русских в Праге, а посреди современников и соплеменных я был с умом и душою, открытыми к впечатлениям настоящей эпохи. Должно еще признаться, что мое короткое сношение с поляками казалось тем более на виду, что я был из числа весьма немногих русских в Варшаве, с которыми образованные из поляков могли иметь какое-нибудь сближение. Я всегда удивлялся равнодушию нашего правительства в выборе людей на показ перед чужими. Без сомнения, надежнейшая порука наша есть дубина Петра Великого, которая выглядывает из-за голов наших у европейских политиков: могущество может обойтись без дальнейшего мудрствования, но нравственное достоинство народа оскорбляется сим отречением от народной гордости. Самая палица Алкида была принадлежность полубога. Русская колония в Варшаве не была представительницею пословицы, что должно товар лицом продавать. В числе русских чиновников мало было лиц обольстительных, и потому польское общество не могло обрусеть. Частные лица не содействовали мерам правительства и общежитие не довершало дела, начатого политикою. Эта разноголосица должна была иметь пагубные следствия. Не знаю, от сей ли связи моей с Польшею или от других причин, но судьба моя потускнела в одно время с судьбою Польши. Государь в это пребывание в Варшаве не удостоил меня ни раза своего личного внимания, хотя и был я награжден чином. На другой день отъезда его призвал меня к себе Новосильцев и рассказал мне следующее: «Вчера Государь, прощаясь со мною, спросил у меня: «Не знаешь ли, что Вяземский имеет против меня? он во все время пребывания моего здесь бегал от меня, так что не удалось мне сказать ему ни слова». Не знаю, что отвечал ему Новосильцев,

но я из отзыва государя заключил, что я был обнесен государю и что он, и не желая показать, что не дорожит мнением, которое ему обо мне внушили, и вместе с тем, не желая и меня оскорбить, может быть, напрасно, искал благоприятной уловки для соглашения двух противоречий. Государь поехал на Тропавский конгресс. И тут, если бы не канцелярские происки, то, вероятно, судьба моя впоследствии не поворотилась бы так круто. Служба моя в Варшаве начинала быть очень не по мне. Поверив опытом предание, которому я прежде поработился суеверно, увидел я, что ни ум, ни совесть мои не могут подчиниться начальнику, избранному мною. Граф Каподистрия был ко мне хорошо расположен. Я стал просить его взять меня к себе из канцелярии Новосильцева, хотя на время Конгресса. Он, понимая мое положение, охотно согласился содействовать моим желаниям: говорил обо мне Новос[ильцеву] но ходатайство осталось без успеха, вероятно, по прежним канцелярским проискам. С Тропавского конгресса решительно начинается новая эра в уме императора Александра и в политике Европы. Он отрекся от прежних своих мыслей; разумеется, пример его обратил многих. Я (хотя это местоимение тут и очень неуместно, но должно же употребить его, когда идет дело обо мне) остался таким образом приверженцем мнения уже не торжествующего, но опального. Не вхожу в исследование, полезно ли было сие обращение или превращение господствующих мнений, но, кажется, нельзя обвинить меня, что я по совести своей не пристал к новому политическому шизму. Нельзя не подчинить дела свои и поступки законной власти. Но мнения могут вопреки всех усилий оставаться неприкосновенными. Русская пословица говорит: у каждого свой царь в голове. Эта пословица не либеральная, а просто человеческая. Как бы то ни было, но положение мое становилось со дня на день затруднительнее. Из рядов правительства очутился я невольню и не тронувшись с места в ряду <противников его> будто оппозиции*. Дело в том, что правительство перешло на другую сторону. В таком положении все слова мои (действий моих никаких не было), бывшие прежде в общем согласии с господствующим голосом, начали уже отзываться диким разногласием. Эта частная несообразность, несозвучность была большинством выдаваема за мятежничество. С одной стороны, обнаруживалась нетерпимость и <гонение>

* Позднейшее исправление Вяземского.

преследование* нового обращения; с моей, признаюсь охотно, обнаруживался, может быть, излишний фанатизм страдальчества за гонимое исповедание. Письма мои, сии верные, а часто и предательские зеркала моей внутренней жизни, отражали сгоряча впечатления, коими раздражала меня моя внешняя жизнь. Письма мои с того времени находились под надзором: я узнал после, что некоторые места из оных были превратно, если не злоумышленно, перетолкованы. Часто многое из них оставалось и недоступно понятию тех, которым поручено было их читать. Нет сомнения, что его высочеству великому князю не было досужно читать все мои письма, а из канцелярии его как военной, так и гражданской, решительно не было ни одного человека, который мог бы понимать своенравный слог писем, написанных шутивно и бегло**. Но о свойстве моих писем и вообще о степени ответственности, которую можно определить частной переписке, буду говорить после. Письма в жизни других — эпизоды, у меня — они история моей жизни. Я поехал в Москву, и тогда, как узнал после, был, по предписанию из Варшавы, предан особому и тайному*** надзору полиции. Тут вскоре поехал я в Петербург обратным путем в Варшаву, где хотел, устроив свои денежные дела, подать просьбу в отставку. Перед самым отъездом получил я письмо официальное или полуофициальное на французском языке и собственноручное от Новосильцева, в котором объявляет мне гнев государя императора. На меня пало два обвинения. Первое, что до сведения государя императора, в проезд его чрез Варшаву, доведено было, что в разговорах моих я горячо защищал мнения, произносимые в Палате⁶⁵ французских депутатов теми из членов, коим приписываются все бедствия, постигшие Францию. Второе, что, выезжая из Варшавы, не явился я <за приказаниями> откланяться**** к великому князю. В заключение сказано было, что государь, желая чтоб мнение чиновника, употребленного правительством, не было в разногласии с видами его и чтобы, с другой стороны, не подавал он примера неуважи-

* Позднейшее исправление Вяземского.

** *Примечание:* Мне после говорили, что в[еликий] к[нязь], прочитав эти слова, сказал: «Хорошо Вяземский отдал канцелярию мою». (*Прим. Вяземского.*)

*** Позднейшая вставка Вяземского.

**** Позднейшее исправление Вяземского.

тельности к особе его августейшего брата, запрещает мне въезд в Варшаву⁶⁶. В этих двух обвинениях оправдываюсь тем, что Франция не была тогда еще раздираема бедствиями революции, что обе партии, разделявшие и разделяющие и поныне палату депутатов и самые умы Франции, входили неизбежно в сущность стихии правления, существующего в ней, что сие тем доказывалось, что часто король из среды нынешних противников министерства, и, следовательно, правительства, избирает своих заграничных министров. Поэтому бескорыстным пристрастием к талантам той или другой стороны, в тяжбе французских мнений я никак не мог видеть русское преступление; впрочем, и самые разговоры мои о таких предметах не могли иметь никакой политической важности: они возникали и умирали в приятельских беседах. Не знаю, какую таинственную силою воскресили их из мертвых и поставили их против меня обвинительными привидениями. Что же касается до другого обвинения, то клянусь совестью, что никак не полагал обязанностью явиться к великому князю перед отъездом моим и не знал, что это в числе установленных обыкновений. Напротив, полагая, что все мои сношения с великим князем существуют только в силу его милостивого благорасположения ко мне, то, уже лишенный оного и чуждый ему по роду службы своей, я даже и не имел права, так сказать, насильственно поддерживать сии сношения, для него тогда уже негодные. Письмо Новосильцева взволновало меня, хотя, отдам ему справедливость, и было <умерено> оно приправлено* выражениями его сожаления, что он лишается во мне чиновника, которого всегда уважал. Выше сказал я, что думал и прежде оставить Варшавскую службу, но мне казалось, что могли поступить со мной иначе. Неприятный великому князю я, конечно, не мог быть оставлен в Варшаве, а государь император не мог колебаться в чувствах и выборе. Я должен был быть удален, но не изгнан позорно, когда дети мои и дела мои требовали присутствия моего, и весь дом мой еще был в Варшаве. Дождавшись возвращения моего, Новосильцев изъявил бы мне о воле государя, чтоб я переменял службу и местопребывание⁶⁷, и все бы обошлось без огласки. <Сие> Подобное** снисхождение ко мне тем было бы естественнее, что по самому письму Новосильцева вид-

* Позднейшее исправление Вяземского.

** Позднейшее исправление Вяземского.

но, что не имели достаточного обвинения против меня, или имели такие, в которых не хотели сознаться. В первую минуту волнения написал я прошение на высочайшее имя об отставке моей из звания камер-юнкера. Сей крутой и необыкновенный разрыв со службою запечатлел в глазах многих мое политическое своеволие. Карамзин был тогда в Царском Селе, и император также. Я уведомил Карамзина о случившемся со мною, когда уже подано было мое прошение, и заклинал его об одном, не ходатайствовать за меня при государе. С свойственным ему благородством и нежным участием в судьбе близких его сердцу он просил у государя не помилования мне, но объяснения в неприятности, постигнувшей меня. Письмо Новосильцева не казалось ему достаточным, и он подозревал меня в утаении от него вины более положительной. Государь подтвердил с некоторыми развитиями то, что сказано было в письме, и прибавил, что, несмотря на то, я могу снова вступить в службу и просить, за исключением Варшавы, любого места, соответственно моему чину. Я упорствовал в своем намерении, вопреки советам и убеждениям Карамзина. Сим кончилось мое служебное поприще и началось мое опальное. Вот во всей истине мое варшавское приключение, которое и ныне еще упоминается мне в укоризну и придает какую-то бедственную известность моему имени, когда друзья мои говорят в мою пользу сановникам, знающим меня по одному слуху. Говорю только о сущности и официальности моего приключения, а впрочем до сей поры не знаю его прикладных подробностей; а в подобных делах тексты маловажны; вся важность в тайных пояснительных комментариях. Могу по крайней мере сказать решительно, что в поведении моем в Варшаве не было ни одного поступка предосудительного; в связях моих ничего враждебного и возмутительного против правительства и начальства. Я поддержал там с честью имя Русского, и, прибавлю без самохвальства, общее уважение ко мне и сожаление, что меня удалили из Варшавы, показывают, что я не был достоин своей участи и что строгая мера, меня постигшая, была несправедливостью частною и ошибкою политическою. Могу сослаться на письмо ко мне князя Заиончека, которого нельзя подозревать в невоздержанном либерализме. Я писал ему из Москвы по делу постороннему; он, отвечая на письмо мое, отзывался о моем пребывании в Варшаве и о сожалении, от своего имени и всех сограждан, что меня уже там нет, в выражениях самых лестных. С того времени я более

жил в Москве и предался занятиям литературным. Эпиграммы мои, звание критика навлекли на меня недоброжелателей. Имя мое, оглашенное у правительства, показалось доступною поживкою людям, кои служат правительству, стараясь уверить его, что у него много противников. В новое доказательство тому, упомяну о следующем. Несколько дней после отставки моей государь, по обыкновению своему гуляя с Николаем Михайловичем Карамзиным в Царскосельском саду, сказал ему однажды: вот вы заступаетесь за князя Вяземского и ручались, что в нем нет никакой злобы, он на днях написал ругательные стихи на правительство. Карамзин, пораженный сим известием, сказал, что спорить не смеет, но, зная меня и мой характер, не может поверить, чтобы я именно в минуту оскорбления и огласки стал изливать свое неудовольствие в пасквилях. Государь обещал принести на другой день письменное доказательство и в самом деле показал Карамзину тщательно и красиво переписанные стихи, ему неизвестные, где выведено было сатирическое сравнение Петербурга с Москвою⁶⁸. По счастью, между прочими стихами, Карамзин встретил такие, которые отдельно давно были ему известны. Он сказал о том государю. Что же вышло? Государю представили за новые стихи, написанные мною лет за десять перед тем, и, следовательно, шалость моей первой молодости. Карамзин сказал тут государю, что в тот же день дело объяснится, что он меня ждет из Петербурга к обеду, чтобы отпраздновать вместе день моего рождения, и спросит меня о стихах. Государь, по редкой черте добродушия и тонкой вежливости, просил Карамзина оставить это дело и не расстраивать радости семейного свидания неприятными впечатлениями. Промышляющие моими политическими мнениями начали промышлять и мою частную жизнь. Я знаю, что государь отзывался людям, которые ему говорили обо мне, с благонамеренностью, как о человеке не строгого и не трезвого жития*. Я никогда не любил ни ханжить, ни шарлатанить своими мнениями и нравами. Не почитаю себя в праве оспаривать у кого бы то ни было награды целомудрия, но решительно и гласно говорю, что и в самые молодые лета мои не бывал я никогда распутными развратным. Любя заниматься

* *Примечание:* Кн. Зенеида Волконская, жившая тогда в Москве и с которою был я в приятельских сношениях, говорила государю с участием о моем московском житье-бытье. (*Прим. Вяземского.*)

по утрам, любил я всегда поздно обедать; ранние желудки некоторых московских бригадиров, зная, что я иногда встаю со стола в седьмом часу вечера, люблю продолжать застольные разговоры за рюмкою вина, в кругу близких приятелей, не могли переварить моих поздних обедов и, вероятно, почли их попойками. Впрочем, после я также имел случай увериться, что государь был ко мне расположен благосклоннее. Убежден людьми мне близкими, просил я наконец у государя чрез Карамзина в случае вакансии вице-губернаторское место в Ревеле, который мне понравился после лета, проведенного мною для морских купаний. Государь <мне обещал> приказал обещать мне* это место, когда оно упразднится. Если же государь и продолжал до конца быть <худого> не совсем хорошего** мнения обо мне, то и это понимается. Последние годы царствования его были годами недоверчивости и опасений. Глухое роптание предвещало, что волнение зрело: подозрения его не были определительны и могли падать на меня наравне с многими другими, в особенности же после моей варшавской огласки. Но и в таком случае должен я признаться с благодарным уважением к его памяти, что и подозрение его было незлобно. С ходатайства Карамзина дал он сейчас высочайшее соизволение свое на покупку имени моего в казенное ведомство, когда он узнал, что я прошу о том для устройства дел своих, пришедших в упадок. Как бы то ни было и на каком замечании я у правительства ни находился, но я не был тревожим в последние годы царствования покойного императора. 19-ое ноября 1825 года отозвалось грозно в смутах 14-го декабря. Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующая, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось на его роковые скрижали. Сколь ни прискорбно мне было, как русскому и человеку, торжество невинности моей, купленное ценою несчастия многих сограждан и в числе их некоторых приятелей моих, падших жертвами сей эпохи, но по крайней мере я мог, когда отвращал внимание от участи ближних, поздравить себя с личным очищением, совершенным самыми событиями. Мне казалось, что я в глазах правительства отъявленный крамольник, бывший в приятельской связи с некоторыми из обвиненных и

* Позднейшее исправление Вяземского.

** Позднейшее исправление Вяземского.

оказавшийся совершенно чуждый соумышления с ними, выиграл решительно свою тяжбу. Скажу без уничижения и без гордости: имя мое, характер мой и способности мои могли придать некоторую цену завербованию моему в ряды недовольных, и отсутствие мое между ими не могло быть делом случайным и от меня независимым. Это должно было переменить мнение обо мне⁶⁹. По странному противоречию, предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины. Мне известно следующее заключение обо мне: отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других*. Благодарю за высокое мнение о уме моем; но не хочу променять на него мое сердце и мою честь. В таких словах отзывается или неумышленность неведения, или эхо замысловатой клеветы. Нет, те, которые меня знают, скажут, что ни сердце, ни ум мой не свойства расчетливого и промышленного. Если я был бы хоть и <сокрытым> неизвестным** содействующим лицом в бедственном предприятии, то верно был бы налицо сотоварищей в несчастье. Ни в каком случае меня не пощадили бы: ни подсудимые, потому что они не пощадили никого, ни судии, потому что, еще того вернее, я не имел в них ни одного доброжелателя. Кстати о характерических отзывах, обо мне распускаемых, припомню еще одно. Мне известно, что до правительства было доведено в последний мой приезд в Петербург слово, будто сказанное Александром Пушки-

* Это сказал Блудову император Николай. Некоторые попытки, разумеется, весьма неопределенные и загадочные были пущены на меня, но нашли во мне твердое отражение. Я всегда говорил, что честному человеку не следует входить ни в какое тайное общество, *ne fut ce que pour ne pas risquer de se trouver en mauvaise compagnie*. [Хотя бы для того, чтобы не очутиться в дурном обществе (*фр.*)]. Всякая принадлежность тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воле вожак. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя. *Une grande partie des sociétés secrètes se composent de beaucoup de niais, et de quelques ambitieux et malintentionnés*. [Большая часть тайных обществ состоит из множества глупцов и из нескольких честолюбцев и злонамеренных (*фр.*)]. Пропагандисты и вербовщики находили, между прочим, что я недостаточно ненавижу немцев и заключили, что от меня проку ожидать нечего. — Мне говорили после, что Якубович и Александр Бестужев были откомандированы в Москву, чтобы меня ощупать и испытать. Они у меня обедали. Разговор коснулся немцев в России. В продолжение споров я сказал наотрез, что не разделяю этих *lieux communs* [общих мест], которые в ходу у нас. (*Прим. Вяземского.*)

** *Позднейшее исправление Вяземского.*

ным обо мне: *вот приехал мой Демон!* Этого не сказал Пушкин или сказал да не так. Он не мог придать этим словам ни политический, ни нравственный смысл, а разве просто шуточный и арзамасский*, если только и произнес их. (В Арзамасе прозвище мое Асмодей)**. Они ни в духе Пушкина, ни в моем. По сердцу своему, он ни в каком случае не скажет предательского слова, по уму, если и мог бы он быть под чьим влиянием, то не хотел бы в том сознаться, а я ни чьим, а еще менее пушкинским соблазнителем быть не могу. Я был неосторожен, в мнениях своих заносчив, за себя, но везде, где только имел случай, умерял всегда невоздержность других. Ссылаюсь на письма мои, которые столько раз бывали в руках правительства. Сюда также идет опровержение донесения, или просто лживого доноса, представленного нынешнему правительству о каком-то тайном, злонамеренном участии, или более направлении в издании «Телеграфа». Не стану входить в исследование: может ли быть что-нибудь тайное, злоумышленное в литературном действии, когда существует цензура, мнительная, строгая и щекотливая, какова наша; скажу просто: я печатал сочинения свои стихами и прозою в «Телеграфе», потому что по условию, заключенному на один год с его издателем, я хотел получить несколько тысяч рублей и таким оборотом заменить недоимки в оброке с крестьян наложением добровольной подати на публику. В этих несправедливых притязаниях, как и в последнем доносе на меня, также по поводу журнала мне неизвестного, который будто готовлюсь издавать под чужим именем, вижу одно гнусное беспокойство некоторых журналистов, позорящих деятельностью своею русскую литературу и русское общество... Они помнят мои прежние эпиграммы, боятся новых, боятся независимости моего прямодушия, когда предстоит мне случай вывести на свежую воду их глупость или криводушие, боятся некоторых прав моих на внимание читающей публики, боятся совместничества моего для них опасного, и в бессилии своем состязаться со мною при свете дня, на литературном поприще, они подкапываются под меня во мраке, свойственном их природным дарованиям и насущному ремеслу. Вот, однако же, тайные пружины, которые, так сказать, без ведома власти, настраивают гнев ее против гражданина, несмотря на

* И арзамасский. (Позднейшая вставка Вяземского.)

** Слова в скобках — позднейшая вставка Вяземского.

преданность сих мнимых прислужников ее, конечно, более их достойного снисходительности и внимания правительства*. Не знаю, их ли злоба или злоба других, но направление ее в ударе, нанесенном мне в последнее время, достигло до вышней степени. В сообщении по высочайшей воле, доставленном от графа Толстого к князю Голицыну в Москву, по поводу журнала, о котором я не имел понятия, нанесены чести моей живейшие оскорбления. *Никто без суда да не накажется*, а разве <обещание> обесчестить человека** не есть наказание, и тем тягостнее, когда оно не гласно. Гласная несправедливость носит в себе предохранительное и удовлетворительное <возмездие> противоядие, <которым прикрывает> которое спасает*** жертву ей подпавшую; но полугласность, как удар незримого врага, неизбежим и неотразим. Поносительное для меня отношение графа Толстого известно во многих канцеляриях⁷⁰. Разве такая оскорбительная полугласность не есть лютейшее наказание для человека, дорожащего своим именем? Судебным порядком я не мог подлежать наказанию. Следовательно, я был наказан без суда и без справедливости. И все это последствие отступлений от правосудия из какого источника истекает? Из корыстолюбия каких-нибудь подлых газетчиков, которые боятся, что новый газетчик отобьет у них подписчиков. Правительство в таком случае поступает и вопреки благонамеренным видам, нарушением общей справедливости, лицеприятными исключениями, и вопреки пользе просвещения, стесняя деятельность и совместничество умов****. Злоупотреблением имени моего наказан и издатель газеты предполагаемой, которому запретили ее издавать, думая, что он находится в каких-то сношениях со мною, когда я ни лица, ни имени его не знаю. В этом отношении еще замечу, что правительство, стесняя мои занятия литературные, лишает меня таким образом общего права пользоваться моею собственностью на законном основании. Такое нарушение справедливости не входит, без сомнения, в намерения правительства, но не менее того ис-

* Слова «сих мнимых... правительства» — вписаны рукою Вяземского в период переписки «Исповеди» В. Ф. Вяземской в оставленное ею свободное место.

** Позднейшее исправление Вяземского.

*** Позднейшее исправление Вяземского.

**** Слова «И все это последствие... и совместничество умов» — написаны на нижнем поле как вставка в текст во время копирования документа.

текает из мер, им принимаемых. Что же касается до приговора, мне изреченного, не знаю, до какой степени имеют право позорить имя человека за поступки, не входящие в число ни гражданских, ни политических преступлений: заблуждения, в которых можно каяться духовному отцу, не подлежат расправе светской власти. Но как бы то ни было могу сказать решительно, что ни в каком отношении не заслуживаю выражений, употребляемых обо мне. *Развратная жизнь, недостойная образованного человека, предосудительность поведения, которое может служить к соблазну других молодых людей и вовлечь их в пороки*, суть обвинения такого рода, что примененные ко мне, они, без сомнения, возбуждают негодование каждого честного человека, меня знающего, и сожаление, что правительство слишком легковверное к выдумкам клеветы основывает мнения свои о людях на подобных показаниях. Удивляюсь, что граф Толстой, хотя и был бы он в этом случае одним безусловным исполнителем, мог без всякой оговорки, без малейшей попытки объяснения⁷¹ подписать свое имя под таким поносительным приговором. Или нет в нем памяти, или должен он знать меня таким, каким знал в долгом пребывании своем в Москве. Он знал мои связи, смею сказать уважение, которым пользуюсь в обществе и которым обязан своему характеру, именно поведению своему, ныне его же рукой опятненному, а не блеску почестей или богатства, часто заменяющих в глазах света недостаток в качествах не столь случайных. Правительство лучше моего знает, кто мои недоброжелатели и тайные враги: пускай велит оно исследовать, кого могу назвать в числе людей ко мне благорасположенных и в числе друзей своих и <сею> этою поверкою оно, надеюсь, убедится, что имею полное право равно гордиться и неприязнью одних и дружбою других*, которую умел я заслужить. Повторяю сказанное мною в письме к князю Голицыну в ответ на сообщенную мне бумагу графа Толстого. Я должен просить строжайшего исследования поведению моему. Повергаю жизнь мою на благорассмотрение государя императора, готов ответствовать в каждом часе последнего пребывания моего в Петербурге, столь неожиданно оклеветанного!

Ныне слышу уже, что обвинение меня в *развратной жизни* устранено, а говорят о каком-то письме моем или сочинениях моих, попавшихся в руки императора и коих содержание должно

* Одних, других — позднейшая вставка Вяземского.

мне повредить. Обвинение обвинению <различно> рознь*. На обвинение в предосудительности нравов моих и поведения моего в Петербурге прошу и суда и ограждения меня вперед от подобной клеветы наказанием клеветников. Если обвинение падает на какое-нибудь мое сочинение, прошу объяснений и потребовать меня к ответу; если на мои письма, прошу выслушать мое оправдание⁷². Возмутительных сочинений у меня на совести нет. В двух так называемых либеральных стихотворениях моих: «Петербург» и «Негодование» отзывается везде желание законной свободы монархической и нигде нет оскорбления державной власти. Первое кончалось воззванием к императору Александру: писано оно было в Варшаве, вскоре после первого сейма. Тогда гласным образом ходило оно по Петербургу. Второе менее известно: я узнал после, что правительству донесено было о нем, но не знаю, было ли оному доставлено, но если ничего к нему не прибавили *добровольные издатели или предатели* (не *editori a traditori*), то не боюсь заключений, которым оно даст повод. Писано оно было в Варшаве: в самую эпоху борьбы или перелома мнений, и, разумеется, должно носить оно живой отпечаток мнений, которым я оставался предан и после их падения. В разные времена писал я эпиграммы, сатирические куплеты на лица, удостоенные доверенности правительства, но в них ничего не было мятежного, а просто светские насмешки. Такие произведения не могут быть почитаемы за выражение целой жизни и служить вывеской человека; они беглые выражения минуты, внезапного впечатления, и отпечатление их на умы также есть минутное. Соглашаюсь, что в глазах правительства они должны казаться предосудительными и некоторым образом нарушают согласие, которое для общего благоденствия господствовать должно между правительством и управляемыми. Но в этом отношении прямодушное исследование обязано разборчиво отделить *проступок* от *преступления*, шалость ума от злоумышления сердца и не столько держаться буквы, сколько *духу*. Теперь приступаю к письмам моим, единственному обвинительному факту в тяжбе моей, который не могу опровергнуть и в котором должен прямодушно оправдываться. Письма мои должны разделиться на два разряда, согласно с двумя эпохами жизни моей: службы и отставки. Невоздержанность письменных моих мнений во время службы непроститель-

* Позднейшее исправление Вяземского.

на. Такого свойства оппозиция у нас, где нет законной оппозиции, есть и несообразность и даже род предательства. Это походит на действие сатира, который в одно время дует холодом и теплом. Гласно служить правительству, и следовательно, <даешься> предать себя орудием в его руки, а под рукою, хотя и без злоумышления, <действуешь>* действовать против него во всяком случае не благовидно**. В случаях противоречия кровным мнениям своим и задушевным чувствам с званием, с обязанностями, на себя принятыми, должно по возможности принести покорное сознание правительству или оставить службу. Следовательно, в этом отношении я был виноват: правительство какими способами бы то ни было поймало меня en flagrant-délit [на месте преступления], и я должен нести наказание вины моей. Это не сомнительно в глазах холодного и строгого суда, но есть справедливость, которая выше правосудия. Теперь для нравственного исследования предосудительности моих писем должно бы подвергнуть их сполна не одностороннему рассмотрению, взвесить на весах беспристрастия те мнения и выражения, которые могут быть ходатаями за меня, судить о всей переписке моей, как будут судить о всей жизни человека на страшном суде, а не так как судит инквизиция по отдельным поступкам, по отрывкам жизни, составляющим в насильственной совокупности уголовное дело, тогда как в целом порочность сих отрывков умеряется предыдущими и последующими. Должно бы обратить внимание на время, в которое писаны были сии письма, и может быть волнение, в них отзывающееся, отголосок тогдашней эпохи, отпечаток тогдашнего перелома и раздражения оправдывается самою сущностью событий. В другом отделении моей переписки, кажется, предстоит мне более способов к оправданию. Со времени моей отставки, не принадлежащий уже к числу исполнителей правительственных мер, я полагал, что могу свободнее судить о них. К тому же, что есть частное письмо? Беседа с глазу на глаз, род тайной исповеди, сокровенных излияний того, что тяготит ум или сердце. Когда исповедь <становится> может становиться*** делом? Тогда, когда открывает она умысел, готовый к исполнению. Но если исповедь ограничивается одними мнениями, одними

* Два позднейших исправления Вяземского.

** Последние пять слов позднейшая вставка Вяземского.

*** Позднейшее исправление Вяземского.

впечатлениями преходящими, как и самые события, то можно ли искать поводов к ответственности в сей исповеди, так сказать, не облеченной в существенность! Должно еще смотреть на лица, к кому письма написаны? Если они выказывают намерение действовать на эти лица или чрез них на другие и на общее мнение, если они в некотором отношении род поучений, разглашений, то предосудительность оных размеряется целью, на которую они метят. Но если письма, хотя и содержания неумеренного, надписаны к людям, коих лета, мнения, положение в обществе уже ограждают их от постороннего влияния, если они писаны к близким родственникам, к жене, то всякое злонамерение в написании оных не устраняется ли самою очевидностью? Одно нарушение тайны писем, писанных не для гласности, составляет их вину и определяет меру их ответственности; но нарушение оным совершается против воли писавшего: как же может он за них ответствовать? В таком случае если допустить нарушение тайны, то должно добросовестно судить о перехваченных письмах, и в таком случае могут служить признанием прямодушной, хотя неуместной откровенности, должно видеть в них иногда игру ума, склонного к насмешке, иногда игру желчи или раздражения нервов, невинный свербеж руки. Не заключить ли о них, о благородстве того, кто их пишет, и не признать ли их залогом его добросовестности и доверенности, которую заслуживает его характер?⁷³ Я знал, что правительство имеет в руках своих частные письма, знаю, что мои чаще других попадают к нему, что я от них пострадал, а между тем продолжаю подавать орудие на себя. Что же это доказывает? Что я по совести своей убежден, что в письмах, каковы мои, нет преступления, что, чистый в побуждениях своих, я не забочусь о истолкованиях и превратных заключениях, к которым сии письма могут подать повод. Это неосторожно, но не преступно. Главная предосудительность сего поступка заключается в том, что кажусь своевольным и будто с намерением вызывающим на себя неудовольствие правительства, что не щажу лиц, к которым нишу и вообще своих приятелей, на коих может падать некоторая ответственность за связи со мною. Такие соображения должны внушить невыгодное мнение о неосновательности моей, легкомыслии и вообще повредить достоинству характера, которое каждый человек обязан соблюдать ненарушимо и свято. Сознание в сем отступлении от обязанностей своих может послужить залогом, что впредь не буду преступать их. Затворю

к себе окно, из которого выглядывала невоздержанность слов моих в наготу на соблазн прохожих. Что нет собственно порочной невоздержности в побуждениях и намерениях моих, кажется, достаточно доказано всею исповедью моею, приносимую ныне в виде покаяния и оправдания. В свою защиту прибавлю еще одно замечание, в изустной речи более непосредственного действия на внимание и круг действия обширнее: нет сомнения, что нашлось бы против меня столько же, если не более обличительных ушей, сколько нашлось обличительных глаз; но, сколько мне известно, речи мои не бывали обращаемы орудием на меня. Следовательно, я не искал никогда славы быть проповедником, провозгласителем своих мнений, хотя и знаю, что каждое слово изустное имеет тысячу эхов и между тем неуловимо, тогда как письменное слово действует одновременно на одно лицо и воплощается только тогда, когда предательскою силою может погубить вас. Признаюсь, однако же иногда в письмах своих позволял себе и умышленную неосторожность. В припадках патриотической желчи, при мерах правительства не согласных, по моему мнению, ни с государственною пользою, ни с достоинством русской нации⁷⁴, при назначении на важные места людей, которые не могли поддерживать <возвышенное бремя> высокого и тяжкого бремени, на них <возложенное> возложенного*, я часто нарочно передавал сгоряча письмам моим животрепещущее заболевание моего сердца: я писал часто в надежде, что правительство наше, лишненное независимых органов общественного мнения, узнает, перехватывая мои письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего. Признаюсь, мне казалось, что сей голос не должен пропасть, а может возбудить чуткое внимание правительства. Пускай смеются над <сим> моим** самоотвержением бесплодным для общей пользы, над сим добровольным мученичеством донкихотского патриотизма, но пускай также согласятся, что если оно не признак расчетливого ума, то по крайней мере оно несомненное выражение чистой совести и прямодушного благородства. Могу утвердительно сказать, что все мнения мои, самые резкие, были отголосками обще-

* Позднейшее исправление Вяземского.

** Позднейшее исправление Вяземского.

го мнения, то есть в известной честной среде* они имели невыраженный, ноне менее того в существе своем гласный отголосок в общем мнении**. Никогда, никакое чувство злобное, никакая мысль предательская, не омрачала моей нравственной жизни. В минуты досады, грустного разуверения в своих надеждах, я мог, по *авторской своей раздражительности*, выходить из границ должного благоразумия и должного хладнокровия. Легко судить меня по письмам: но чем же я виноват что бог назначил меня быть грамотным, что потребность сообщать и выдавать себя посредством дара слова, или, правильнее, дара письменного, пала мне на удел в числе немногих из русских. Не мудрено, что те, к которым пристал стих Пушкина (а у нас их много): нигде *ни пятнышка чернил*, не замарали совести своей чернильными пятнами и что мои тем более на виду. Верю, что отблески мыслей должны казаться кометами в общем затмении русской переписки, в общем оцепенении умственной деятельности. Но неужели равнодушие есть добродетель, неужели грубое бесстрашие к России может быть для правительства надежным союзником? А где есть живое участие, где есть любовь, там должны быть и увлечение*** и раздражительность? Мелкие прислужники правительства, промышляющие ловлею в мутной воде, могут, подтрушивая, ему передавать сплетни и отравлять их ехидною примесью от себя. Но правительство довольно сильно и должно быть довольно великодушно, чтоб сносить с благодарностию даже несправедливые укоризны, если они внушены прямодушием.

Кажется, сим может ограничиться моя исповедь: я выказал себя всего. Теперь правительство пускай ищет меня здесь, а не в неверных и отрывчатых изображениях, донныне ему известных. Если я хотел бы написать просто оправдание, адвокатную защиту себе, то, без сомнения, мог бы написать ее в ином виде, с большим искусством, с единым направлением к цели: оправдать себя. Чувствую, что и здесь многое из сказанного мною может подать повод к подтверждению заключения обо мне уже состоящего. Но я сказал выше, я всегда имел отвращение от шарлатанства и ханжества. Не хотел даже невинно притворствоваться в этом

* *Шесть последних слов — позднейшая вставка Вяземского.*

** *Слова «они имели... общем мнении» отмечены Вяземским карандашом.*

*** *и увлечение — позднейшая вставка Вяземского.*

случае. Говоря о том, что было, изъясняя себя, я должен был переноситься в мысли, которые мне тогда были свойственными, а не искать в риторических уловках противоречия самому себе, когда совесть моя не нуждалась в этом притворстве. Мне хотелось написать эту записку, как пишу свои письма, с умом па просторе, с сердцем наголо. В ней, так сказать, зеркало моей жизни, моих мнений, моей переписки, но зеркало не разбитое, не искривленное злонамеренностью. Надеюсь на беспристрастие моих судей, прошу их благоприятно или нет, но судить обо мне по этому изображению.

Еще одно слово. Мое устранение от службы, бездействие в приискании случая быть принятым в оную, после попытки моей, сделанной в Петербурге, и лестного отзыва⁷⁵, сообщенного мне генералом Бенкендорфом от имени государя, может навести подозрение на искренность желания моего быть совершенно очищенным во мнении правительства. Ссылаюсь на письмо мое к генералу Бенкендорфу, прося тогда быть употребленным при Главной квартире действующей армии или по какой-нибудь части отдельной, входящей в состав предстоящих дел, я был побуждаем не одним честолюбивым умыслом: нет, но лета, семейные обстоятельства, ограниченность моего состояния препятствуют мне в свободном избрании службы. Штатные места у нас доставляют малое жалованье, а служба, требующая постоянного пребывания в городе, неминуемо вовлекает в новые расходы: служба по одному из министерств вынудила бы меня переселиться со всем семейством в Петербург, и тут также встречаю упомянутое неудобство. В мои лета, с непривычкою к службе практической тяжело было бы привыкать к ней, уединясь в каком-нибудь губернском городе: такая школа могла бы скорее отучить от службы, чем приохотить к ней. Зная, на что я гожусь и на что неспособен, мог бы я по совести принять какое-нибудь место доверенное, где употреблен бы я был для редакции, где было бы более пищи для умственной деятельности, чем для чисто административной или судебной. Я когда-то сказал о себе: «я думаю, мое дело не действие, а ощущение. Меня должно держать как комнатный термометр, который не может ни нагреть, ни освежить покоя, но никто скорее и вернее его не почувствует настоящей температуры». Могу применить это наблюдение о себе и к службе моей: я не хотел бы по крайней мере на первый раз быть действующим лицом, в какой бы то

ограниченной части ни было, а просто лицом советовательным и указательным, одним словом, хотел бы я быть при человеке истинно государственном служебным термометром, которым мог бы и ощущать и сообщать. Могу отвечать за подвижность моей ртути, она не знала бы застоя. Беда вся в том, что у меня ее слишком много и что мой термометр не привилегированный. Впрочем, для устранения всякого подозрения обо мне, для изъявления готовности моей совершенно себя очистить во мнении я готов принять всякое назначение по службе, которым правительство меня удостоит*⁷⁶.

Книжка восьмая

6-го [июля]

...Был в департаменте, обедал у именинника (вчера) Сер[гея] Льв[овича] Пушкина. Вечером писал письмо к жене, сегодня отправленное при фунте шерсти и Гофмане с Мухановым. «Вечером был на Крестовском у Сухозанет. Закревская, Мордвинова, Поливанова, *le reste ne vaut pas la peine d'être nommé***». Принц Оскар говорил с сожалением Жуковскому, что обстоятельства бросили его на сцену света, прежде чем успел он порядочно совершить учение свое. Храповицкий, представитель русского народа при Оскаре, вмешался в разговор и сказал: «*Monseigneur, vous m'encouragez: maintenant je n'aurai plus honte d'être ignorant,*

* Эта записка по приказанию императора Николая была препровождена к цесаревичу в Варшаву. В Петербурге она, кажется, не произвела никакого действия на тех, для которых она писана. В Варшаве, вероятно, было другое. Вполне ли прочитана она была великим князем или нет, неизвестно. Но дело в том, что вскоре после того кн. Александр Федорович Голицын, приехавший из Варшавы в Москву и мало мне тогда знакомый, начал разными обиняками говорить мне, что ему известно, как желал бы цесаревич иметь письмо от меня, дабы мог он содействовать возвращению моему на службу. При всей заносчивости в[еликого] к[нязя] он имел много прямоты и благородства. Ознакомившись несколько с моею запискою, он мог убедиться, что я не так черен, каковым кажусь некоторым господам. Легко статья, что он почувствовал, что слишком порывисто подействовал на судьбу мою. Как бы то ни было возобновлению сношений моих с ним и письму его к государю обо мне обязан я поступлением моим снова на службу. (Прим. Вяземского.)

** Остальных не стоит труда и перечислять (фр.).

apprenant que vous l'êtes aussi»*. — Император Алек[сандр] говорил, когда я вижу в саду пробитую тропу, я говорю садовнику: делай тут дорогу. Любопытно знать: просто ли это садоводное замечание или государственное. Во всяком случае оно признак ума ясного, открытого и либерального. Есть и садовый либерализм, и садовый деспотизм. — Потемкина спрашивала у царя нынешнего, не осуждает ли, что она завела у себя Ланкастерскую школу. Он отвечал ей, qu'il était fâché de voir qu'elle avait une aussi mauvaise opinion de lui**⁷⁷. Жуковский говорит, что у нас фарватер только для челноков, а не для кораблей. Мы жалуемся, что корабль, пущенный на воду, не подвигается, не зная, что он на мели. Вот канва басни...

...В самом деле любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей оказывается здесь решительно. Даже и наказания божия почитает она наказаниями власти. Во всех своих страданиях она так привыкла чувствовать на себе руку владыки, что и тогда, когда тяготеет на народе десница вышнего, она ищет около себя или поближе над собою виновников напасти. Изо всего, изо всех слухов, доходящих от черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный, и называет эту годину революциею. Отчета себе ясного в этом она не дает, да и дать не может, но и самое суеверие не менее сильно иногда веры. То говорят они, что народ хватают насильно и тащат в больницы, чтобы морить, что одну женщину купеческую взяли таким образом, дали ей лекарства, она его вырвала, дали еще, она тоже, наконец, прогнали из больницы, говоря, что с нею видно делать нечего: никак не уморишь. То говорят, что на заставах поймали переодетых и с подвязанными бородами, выбежавших из Сибири несчастных 14-го; то, что убили в Москве в[еликого] к[нязя], который в Петербурге; какого-то немецкого принца, который никогда не приезжал. Я читал письмо остафьевского столяра из Москвы к родственникам. Он говорит: *нас здесь режут как скотину*⁷⁸...

* Монсиньор, вы придаете мне бодрости: теперь мне не стыдно быть невеждой, зная, что и вы страдаете тем же (фр.).

** Что ему досадно, что она такого плохого мнения о нем (фр.).

Ноября 3-го

...Через Подольск посланы письма к Карамзин[ым], Дельвигу с статьею Ив[анчина] Писарева о Измайлове, Булгакову, Муханову. Я перечитал «Жизнь Бибикова». Занимательная книга, и если сын героя, автор, не так бы патриотизировал, то и хорошо писанная. Много любопытных фактов. Как мы пали духом со времен Екатерины, то есть со времени Павла. Какая-то жизнь мужественная дышет в этих людях царствования Екатерины, как благородны сношения их с императрицею; видно точно, что она почитала их членами государственного тела. И самое царедворство, ласкательство их имело что-то рыцарское: много этому способствовало и то, что царь была женщина. После все приняло какое-то холопское уничижение. Вся разность в том, что вышние холопы барствуют пред дворнею и давят ее, но пред господином они те же безгласные холопы. Возьмите, например, Панина и Нессельрода, этого холопа карла, не говоря уже в нравственном смысле, ибо он в нем и не карла, а какой-то изверженный зародыш, *vermineau né du cul de feu son père**, или правильнее помня способность батюшки, *un vent lâché du cul de feu son père***, но и физического карла: в тех ли он сношениях с царем, в каких был Панин с Екатериною⁷⁹. Воля ваша, а для России нужно еще и физическое представительство в своих сановниках. Черт ли в этих лилипутах? Слово Павла, сей итог деспотизма, *sachez qu'à ma cour il n'y a de grand que celui à qui je parle et pendant que je lui parle****, сделалось коренным правилом. При Павле, несмотря на весь страх, который он внушал, все еще в первые года велись несколько екатерининские обычаи; но царствование Александра, при всей кротости и многих просвещенных видах, особливо же в первые года, совершенно изгладило личность. Народ омельел и спал с голоса. Все силы оставшиеся обратились на плутовство и стали судить о силе такого-то или другого сановника по мере безнаказанных злоупотреблений власти его. Теперь и из предания вывелось, что министру можно иметь свое мнение. Нет сомнения, что со времен Петра Великого мы успели в образовании, но

* Глистный зародыш, выскочивший из [...] его, ныне покойного отца (*фр.*).

** Подобно ветрам, выходявшим из [...] его покойного отца (*фр.*).

*** Знайте же, что при моем дворе велик лишь тот, с кем я говорю и лишь тогда, когда я с ним говорю (*фр.*).

между тем как иссохли душою. Власть Петра, можно сказать, была тираническая в сравнении с властью нашего времени, но права сопровержения и законного сопротивления ослабили до ничтожества. Добро еще, во Франции согнул спины и измочалил души Ришелье, сей также в своем роде железнолапый богатырь, но у нас, кто и как произвел сию перемену? Она не была следствие системы, — и тем хуже...

22-го [сентября]

...Пушкин в стихах своих: "Клеветникам России" кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней. *Народные витии*, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим.

Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от *мысли* до *мысли* пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура. Велик и Аникин, да он в банке.

Вы грозны на словах, попробуйте на деле.

А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то! Неужли Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом *взбивать слова*, чтобы заметать глаза пеною, но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить? Это глупое ребячество или постыдное унижение. Нет ни одного листка *Journal de Débats* [«Журналь де деба»], где не было бы статьи, написанной с большим жаром и с большим красноречием, нежели стихи Пушкина. В «Бородинской годовщине» опять те же мысли, или то же

безмыслие. Никогда народные витии не говорили и не думали, что 4 мил[лиона] могут пересилить 40 миллионов], а видели, что эта борьба обнаружила немощи *больного, измученного колосса*. Вот и все: в этом весь вопрос. Все прочее физическое событие. Охота вам быть на коленях пред кулаком. И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою*? Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо «Инвалиду» сблизать эпохи и события в календарских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно. Одна мысль в обоих стихотворениях показалась мне уместною и кстати. Это мадригал молодому Суворову. Незачем было Суворову вставать из гроба, чтобы благословить страдание Паскевича, которое милостью божиею и без того обойдется. В Паскевиче ничего нет суворовского, а война наша с Польшею тоже вовсе не Суворовская, но хорошо было дедушке полюбоваться внуком.

После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские, Нессельроде за подписание мира. Когда решишься быть поэтом *событий*, а не *соображений*, то нечего робеть и жеманиться — Пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что мы *не сожжем Варшавы их*. И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее. Вы так уже сбились с пахвей в своем патриотическом восторге, что не знаете на чем решиться: то у вас Варшава — неприятельский город, то наш посад⁸⁰. <...>

Книжка тринадцатая

<...> Д. П. Бутурлин рассказывал мне, что отец его был по деревне своей соседом Новикова. Когда Новиков по восшествии Павла на престол возвратился из ссылки в свою деревню, созвал он соседей на обед, чтобы праздновать освобождение. Перед обедом просил он позволения у гостей посадить за стол крепостного человека, который добровольно с 16-летнего возраста заперся с ним в крепость. Гости приняли предложение с удовольствием. Через несколько времени Бутурлину сказывают, что Новиков продает своего товарища. При свидании своем с ним спрашивает его: правда ли это? «Да, отвечает Новиков, дела мои расстроились и мне нужны деньги. Я продаю его за 2000 руб.» Я и прежде слышал, что Новиков был очень жесток с людьми своими⁸¹.

Император Павел, приехав однажды в Москву, радовался, что повсюду народ бегаёт за ним и толпится везде, где он ни покажется. Мне очень приятно, говорил он Обольянинову, это доказательство народной любви. «Простите меня, — отвечал Обольянинов, — но я тут никакой любви не вижу. За две недели до приезда вашего императорского] вел[ичества] проводили чрез Москву слона, и также народ бегал за ним». — Этот ответ не похож на Обольянинова (Впрочем, Обольянинов, как и все царствование Павла, были, вероятно, излишне очернены. Довольно и того, что было в самом деле; но враждебные партии не довольствуются истиною. Я после слышал, что Обольянинов был человек не злой и не без смысла)⁸² ...

...Наша литературная бедность объясняется тем, что наши умные и образованные люди вообще не грамотны, а наши грамотные вообще не умны и не образованы...

...Для некоторых любить отечество — значит дорожить и гордиться Карамзиным, Жуковским, Пушкиным и тому подобными и подобным. Для других любить отечество — значит любить и держаться Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля и (подобное тому) прочих и прочего⁸³. Будто тот не любит отечество, кто скорбит о худых мерах правительства, а любит его тот, кто потворствует мыслью, совестью и действием всем глупостям и противозаконностям людей облеченных властью? Можно требовать повиновения, но нельзя требовать согласия.

У нас самые простые понятия, человеческие и гражданские, не вошли еще в законную силу и в общее употребление. Все это от невежества: наши государственные люди не злее и не порочнее, чем в других землях, но они необразованнее.

Прения палаты депутатов во Франции не представляют никогда вида генерального сражения между двумя воюющими силами, двумя мнениями. Нет, это непрерывные поединки частных личностей...

[Перевод]
24 мая 1844

<...> Нам следует опасаться не революции, но дезорганизации, разложения. Принцип, военный клич революции: Сойди с места,

чтобы я мог его занять! — у нас совершенно неприменим. У нас не существует ни установившегося класса, ни подготовленного порядка вещей, чтобы опрокинуть и заменить то, что существует. Нам остались бы одни развалины. Такое здание рухнет. Само собой разумеется, что я говорю только о правительственном здании. Нация же обладает элементами жизнеспособности и самосохранения.

Людовик XIV говорил: «Государство — это я!» Кто-то другой мог бы сказать еще более верно: анархия — это я!

25 июня

В отличие от других стран, у нас революционным является правительство, а консервативной — нация. Правительство способно к авантюрам, оно нетерпеливо, непостоянно, оно — новатор и разрушитель. Либо оно погружено в апатический сон в ничего не предпринимает, что бы отвечало потребностям и желаниям момента, либо оно пробуждается внезапно, как бы от мушиного укуса, разбирает по своему произволу один из жгучих вопросов, не учитывая его значение и того, что вся страна легко могла бы вспыхнуть с четырех углов, если бы не инстинкт и не здравый смысл нации, которые помогают парализовать этот порыв и считать его несостоявшимся. Об этом свидетельствует вопрос об обязанных крестьянах. Никто не сможет отрицать, что вопрос о рабстве является у нас наиболее важным вопросом, разрешения которого желают все просвещенные и благонамеренные умы. Но ведь следует подготовить основания и условия этого решения, а не бросать его, как бомбу, в толпу. Невозможно применить закон таким, каким он был опубликован, — вот действие правительства. Нация приостановила неблагоприятные последствия этого закона, вызвав его полное крушение, — вот действие подданных.

Правительство производит беспорядки: страна выправляет их способом непризнания; без протеста, без указаний страна упраздняет плохие мероприятия правительства. Правительство запрашивает страну, она не отзывается, на вопрос нет ответа.

Многие вполне здравомыслящие и добросовестные люди объясняют себе большую часть мероприятий правительства лишь как результат чьего-то тайного влияния, скрытого заговора, воздействующего на власть без ее ведома и толкающего ее на роковой путь, ведущий в пропасть. Многие из людей, занимающих

в государстве видное положение, скажут вам, что заговор этот возглавляется Киселевым. Я нимало не разделяю этого мнения и не признаю в нем никакого революционного покушения и умысла. Он обладает довольно острым умом, но умом поверхностным, недальновидным, чуждым сердцу, тому источнику, откуда, по словам Вовенарга, исторгаются великие мысли; в нем много самодовольства, дерзости, жажды славы, соединенной с большой беспечностью к общественному мнению и презрением к людям. Он деспотичен по своим вкусам, привычкам и благодаря своей посредственности, ибо только люди высокого ума способны на податливость и уступки, он избалован и опьянен успехами своего проконсульства в областях, им, так сказать, возрожденных и благоустроенных, откуда он вывез слишком легко приобретенные идеи о государственном управлении, которые он полагает применить к России; вот что собой представляет Киселев как государственный человек. Если бы лучше им руководили и использовали более умело, он был бы полезным и блестящим второстепенным деятелем на общественном поприще. Но у нас власть совершенно лишена способности узнавать и чувствовать людей.

Это предположение, хотя и ложное, заставляющее искать в дурных мероприятиях правительства тайную и постоянную конспирацию, является еще и замечательным признаком мудрости и добрых побуждений нации. Неприкосновенность государя, принцип, заключающийся в том, что государь не может плохо поступить, и представляющий собой абстрактную идею, юридически принятую в конституционных государствах, принят и у нас воплощен практически. Этот принцип покрывает собой и спасает ответственность государя и укрепляет монархические основы также, как это было в эпохи народных бедствий, например холеры, когда народ упрямо не желает признавать божьей кары, а усматривает в них человеческие злодеяния, отравления; то же происходит при виде бедствий, исходящих от дурных мероприятий правительства. Народ видит в его поступках руку не государя, а его тайных врагов. Его любовь к государю от этого не страдает, так же как в вышеизложенном случае не страдала вера в бога. Пусть это предрассудки, но эти предрассудки спасают и сохраняют в то время, как некие истины только разрушительны (*фр.*).

У нас запретительная система господствует не в одном тарифе, но во всем. Сущность почти каждого указа есть воспрещение чего-

нибудь. Разрешайте же, даруйте иногда хоть ничтожные права и малозначительные выгоды, чтобы по губам чем-нибудь сладким помазать. Дворянская грамота, дарованная Екатериною, не отяготительна, не разорительна для самодержавной власти, но и ее приняли как благодеяние. А вы и этот медный грош обрезали. Власть должна быть сильна, но не досадлива.

У нас *самодержавие* значит, что в России все *само собою держится*: при действии одних людей все рушилось бы давным давно.

В диком состоянии человечества дикарь действует одною силою, одним насильством: он с корня рубит дерево, чтобы сорвать плод, убивает товарища, чтобы присвоить себе его звериную кожу: в состоянии образованном человек выжидает, чтобы плод упал на землю или подставляет лестницу к дереву, у товарища выменивает или покупает кожу, иногда его обманывает, но за то и сам обманут бывает. Это все дело житейское. У нас власть никогда ничего не выжидает, не торгуется с людьми, не уступает. Это сила, но сила вещественная, против которой даже и при общем повиновении противодействует сила умственная, которая рано или поздно возьмет верх⁸⁴.

Перовский делает какое-то новое положение о б... Оно может быть и хорошо и нужно для общественного здоровья. Но кому будет поручен надзор за ними и за исполнением установленных правил? Полицейским чиновникам, то есть отъявленным взятошникам и грабителям. Все эти предохранительные и блюстительные средства принесут один верный и неминуемый результат: побор с девок и полицейский налог на б...и. Прежде чем писать уставы, приготовьте блюстителей и исполнителей этих уставов, а то вы, как крестьянин Крылова, сажаете лисицу стеречь курятник⁸⁵.
<...>

<...> Изо всех наших государственных людей только разве двое имеют несколько русскую фибру: Уваров и Блудов. Но, по несчастю, оба бесхарактерны, слишком суетны и легкомысленны, то есть пустомысленны. Прочие не знают России, не любят ее, то есть не имеют никаких с нею сочувствий. Лучшие из них имеют патриотизм официальный, они любят свое министерство, свой департамент, в котором для них заключается Россия — Россия мундирная, чиновническая, административная. Они похожи на сельского священника, который довольно

рачительно, благочинно совершал бы духовные обряды в церкви во время служения, но потом не имел бы ничего общего с прихожанами своими. А сколько еще между ними и таких священников, которые совершенно безграмотны и валяют обедню сплеча.

Вся государственная процедура заключается у нас в двух приемах: в рукоположении и в рукоприкладстве. Власть положит руки на Ивана, на Петра и говорит одному: ты будь министр внутренних дел, другому — ты будь правитель таких-то областей, а Иван и Петр подписывают имена свои под исходящими бумагами. Власть видит, что бумажная мельница в ходу, что миллионы нумеров вылетают из нее безостановочно, и остается в спокойном убеждении, что она совершенно права перед богом и людьми.

Одна моя надежда, одно мое утешение в уверении, что он и они увидят на том свете, как они в здешнем были глупы, бестолковы, вредны, как они справедливо и строго были оценены общим мнением, как они не возбуждали никакого благородного сочувствия в народе, который с твердостью, с самоотвержением сносил их как временное зло, ниспосланное провидением в неисповедимой своей воле. Надеяться, что они когда-нибудь образумятся и здесь, безрассудно, да и не должно. Одна гроза могла бы их образумить. Гром не грянет, русский человек не перекрестится. И в политическом отношении должны мы верить бессмертию души и второму пришествию для суда живых и мертвых. Иначе политическое отчаяние овладело бы душою.

Как в литературной сфере Блудов рожден не производителем, а критиком, так и в государственной он рожден для оппозиции. Тут был бы он на месте и лицо замечательное. В рядах государственных деятелей он ничтожен⁸⁶. <...>

...Прежде нежели делать ампутацию должно промыслить оператора и приготовить инструменты. Топором отрубишь ногу, так, но вместе с тем и жизнь отрубить недолго. У нас хотят уничтожить рабство — дело прекрасное, потому что рабство — язва, увечье. Но где у вас врачи, где инструменты? Разве ваше земская полиция, ваша внутренняя администрация готовы совершить искусно и благонадежно эту великую и трудную операцию? В этом заключается вся важность вопроса. <...>

<...> Я писал Жуковскому о нашей народной и руссо-славной школе: «Tout ce qui n'est pas clair n'est point français»*, говорят французы в отношении к языку и слогу. — Всякая мысль не ясная, не простая, всякое учение, не легко применяемое к действительности, всякое слово, которое не легко воплощается в дело, не русские мысль, учение, слово. В чувстве этой народности есть что-то гордое, но вместе с тем и холопское. Как прусаки ненавидят нас потому, что мы им помогли и выручили их из беды, так наши восточники ненавидят Запад. Думать, что мы и без Запада справились бы — то же, что думать, что и без солнца могло бы светло быть на земле. Наше время, против которого нынешнее протестует, дало однако же России 12-й год, Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина. Увидим, что даст нынешнее. Пока еще ничего не дало. Оно умалило, сузило умы. Выдумывать новое просвещение, на славянских началах, из славянских стихий — смешно и безрассудно. Да и где эти начала, эти стихии? Отказываться от того просвещения, которое ныне имеем, в чаянии другого просвещения, более родного, более к нам приуроченного, то же, что ломать дом, в котором мы кое-как уже обжились и обзавелись, потому что по каким-то преданиям, гаданиям, ворожейкам где-то, в какой-то потаенной, заветной каменоломне должен непременно скрываться камень-самородок, из которого можно построить такие дивные палаты, что пред ними все нынешние дворцы будут казаться просто нужниками. Вот эти руссославы и ходят все кругом этого места, где таится клад, с припевами, заговорами, заклятьями и проклятьями Западу, а все ничего вызвать и осуществить не могут. Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Эти руссославы гораздо более немцы, чем русские⁸⁷. <...>



* Все, что неясно — то не по-французски (фр.).